

В.КЁППЕН Записки Якоба Литтнера из подземелья



Вольфганг
Кёппен

Записки
Якоба
Литтнера
из подземелья

*Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса) — Россия
в рамках программы
«Горячие точки»*



*Wolfgang
Koeppen*

*Jakob Littners
Aufzeichnungen
aus einem Erdloch*

Вольфганг
Кённен

Записки
Якоба Литтнера
из подземелья

Перевод с немецкого
Сергея Ромашко



«ТЕКСТ»
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
МОСКВА 2000

ББК 84(4Гем)
К35

Книга издана при поддержке Фонда Inter Nationes

*Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln
von Inter Nationes gefördert*

Художник Татьяна Иващенко

*В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0213-7

© Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1992
© «Текст», издание на русском языке, 2000

ОПЯТЬ ОБ ЭТОМ? ОПЯТЬ ОБ ЭТИХ?

Давайте приоткроем дверь и заглянем в подземный мир Якоба Литтнера...

Якоба Литтнера, торговца марками в маленьком филателистическом магазине тогдашнего, довоенного Мюнхена, «толстого, задыхающегося мужчины» (каким он сам увидел себя в зеркале при первом аресте), довольного своим тихим существованием — и вдруг брошенного в чудовищные, смертельные лабиринты времени...

В мир и жуткую одиссею Якоба Литтнера, которую он должен был пройти лишь по одной причине. По ЭТОЙ.

«...Я написал о «положении евреев в Германии», и на бумаге эти слова вновь кажутся мне чуждыми и искусственными. Что это значит: положение евреев? Я не чувствую своей принадлежности к какой-то особой и чуждой группе немецкого народа. В течение пяти лет национал-социалистического господства из меня безуспешно пытались воспитать «расово сознательного» еврея. В 1933 году, когда все естественно сложившиеся отношения были подвергнуты проверке и исправлению в соответствии с категориями расовой теории, я обнаружил, что среди моих друзей и знакомых были исключительно неевреи, хотя я этого прежде как-то и не замечал. Некоторые из друзей за это время отвернулись от меня, еврея, другие же сохранили верность и

по возможности проявляют по отношению ко мне еще более дружеское расположение, чем прежде. Сам же я считаю себя таким же человеком, как и все прочие. Я гражданин, налогоплательщик, я люблю определенный комфорт, я не преступник. Вся эта пропаганда, клеймящая меня как представителя определенной разновидности человеческого рода, к которой я принадлежу по факту рождения, несомненно представляет собой чудовищное заблуждение», — так — еще удивленно — отмечает в начале своего дневника Якоб Литтнер то, что начало происходить с ним и с такими, как он.

Да, Якоб Литтнер — герой повести замечательного писателя Вольфганта Кёппена «Записки Якоба Литтнера из подземелья», впервые выходящей на русском.

С этой повестью — одна фантасмагория.

Она вышла в Германии еще в 1948 году под именем Якоба Литтнера, якобы рассказавшего о пережитом некоему молодому издателю. Такие истории знает литература: вспомним хотя бы пушкинские «Повести Белкина». Но здесь — другая история. Знаменитый немец Вольфганг Кёппен (я, например, полюбил его после «Смерти в Риме») признался в авторстве лишь спустя 43 года. В начале девяностых, незадолго до своей смерти.

Почему он так поступил? Зачем? Кто сейчас узнает...

Но когда я читал эту поразительную вещь, то честно, думал об иной фантасмагории. Той, которой мы с вами свидетели.

Да, слышу, слышу сейчас голоса: опять об ЭТОМ? Опять об ЭТИХ? Может быть, довольно, хватит, сколько можно...

Помню, помню, с какой жадностью на заре перестройки хватались мы за все, что писалось о нашем страшном: от Солженицына до Шаламова. От истории великого Михоэлса до неизвестного Бориса Слуцкого. Как нам хотелось узнать правду о себе, о собственной стране, о прожитой боли поколений наших родителей, о поруганных стариках, об уничтоженных нациях. Обо всем, обо всем...

Может быть, подобная жадность к знаниям, приспособление к страшным тайнам истории собственной страны — думали мы тогда (или думали, что думаем) — позволит нам избежать ошибок в будущем и наконец жить по-человечески.

Узнавали, узнавали — и вдруг замерли, подобно тому, как останавливается бегун на дистанции, чувствуя, что не хватает дыхания.

Хватит! Все, хватит!

Говорю даже не об истерических криках: «очернительство», «предательство идеалов», «уничтожение ценностей» и т.д. и т.п.

Нет, дело, мне кажется, даже в другом: сами устали от знаний, вдруг свалившихся на нас. Правда начала путать! Правда стала мешать маленькому, мелкому душевному комфорту... Да черт с тем, что было... Самим бы выжить. Не вчера — сегодня...

Слишком короткой оказалась дистанция, по которой мы шли к прошлому, чтобы повлиять на будущее.

Слабеньким оказалось дыхание...

Ну, а потом, потом...

Взорванные синагоги — и молчание вождей.

Стрельба по парламенту — и восторженные зеваки на Кутузовском.

Облава на лиц «кавказской национальности» — и аплодисменты в партере.

(Во время одной из таких московских облав омоновцы остановили моего приятеля-армянина. «А я не лицо кавказской национальности». — «А кто ты?» — «Еврей». — «Пожалуйста, проходите...» Ну, наша история...)

И наконец, Чечня, война, привычные цифры людских потерь, когда уже перестаешь считать эти цифры. И круги ада беженцев. Их одиссеи, сравнимые с той, что выпала герою Вольфганга Кёппена.

Часто думаю, зачем нужны такие книги, как эта? Зачем приучать себя читать то, что больно? Зачем не забывать?

Да затем, наверное, чтобы слова «мочить в сортире» не вызывали звериный восторг тех, кто разучился читать ТАКОЕ и об ЭТОМ.

И еще вот какая штука мелькнула сейчас в голове.

А может быть, не случайно — специально — лишь в начале девяностых Вольфганг Кёппен признался в авторстве? Может быть, поэтому была реанимирована та книга, изданная еще в 48-м, чтобы к концу века люди задумались о том, что нет, нет: то, что прошло, не обязательно исчезло безвозвратно?

Может быть, об этом думал мудрый немец?

Юрий Щекочихин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Зима 1946 — 1947 годов в Германии, голод, времменное пристанище на руинах. Главной валютой были сигареты. Я некурящий. Я не подбирал окурки. И был слишком неловок, чтобы промышлять на черном рынке. Но я пережил Гитлера и войну. Для меня это было чудом. Я надеялся снова стать самим собой, снова начать писать, вернуться к прежней жизни. И пользоваться свободой свободного писателя.

В одном стихотворении Франка Ведекинда есть строка: «Писатель мчит за гонораром в заношенных до дыр штанах». Это в нормальные времена. А тогда у писателей гонораров не было. Немецкие издатели ждали лицензии от оккупационных властей, чтобы опубликовать книгу, типографии ждали бумагу, распределяемую по непонятным правилам.

Но в любой ситуации находятся оптимисты. Некий книголюб, без специального образования, задумал стать издателем. Единственное, на что он мог положиться, так это на удачу.

Господин Клюгер, так его звали, потеряв все в Берлине, перебрался в Мюнхен. Приехал он с одним чемоданом. Сказал: «Сделаем книгу». И издательство было основано.

Вот к этому новому издателю и пришел человек из немецкого ада. Когда-то респектабельный

житель Мюнхена, владелец филателистического магазина с солидной международной репутацией, затем — перемещенное лицо, еврей, испытавший мучения в гетто и лагерях уничтожения, постоявший на пороге смерти и на краю рва, где уже лежали мертвые. Все это было совсем недавно.

Когда он вернулся в свой город, разрушенный бомбами его освободителей, ему показалось, что вокруг убийцы. Ему хотелось кричать, но крик застревал в горле. Он хотел говорить, но видел перед собой лица людей, одобрявших все, что происходило вокруг.

Я не принадлежу к тем, кто утверждает, будто ничего не знал. Ад был повсюду. Я сознавал свое бессилие. И разве кто-нибудь отваживался выйти на улицу и закричать? За спиной у каждого в те годы маячила смерть.

Еврей рассказывал новоиспеченному издателю, как Бог хранил его все это время. Издатель слушал, записывал названия мест и даты. Спасшийся искал писателя. Тогда издатель поведал мне эту невероятную историю. Она снилась мне ночами. Издатель спросил: «Напишешь об этом?»

Прошедший через издевательства и истязания человек стремился прочь, он уехал в Америку. Он пообещал мне гонорар, два продовольственных пайка каждый месяц.

Я ел американские консервы и писал историю страданий немецкого еврея. И тогда это стало моей историей.

*Вольфганг Кёппен
1991*

**ЗАПИСКИ
ЯКОБА ЛИТТНЕРА
ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ**

Было много супружеских пар, проходивших сквозь строй охраны; старая женщина шла под руку со своим стариком мужем, который рыцарски склонялся к ней, словно в день свадьбы. У них был очень ухоженный вид, они были даже в праздничной одежде, и мы удивлялись, как им удавалось так выглядеть после поездки в вагоне. Еще более нас поражало то, что многие старики были в шляпах, в солидных черных фетровых или маленьких шелковых шляпках, которые им, должно быть, пришлось долго чистить рукавом. Некоторые шагали сквозь строй, вслух читая молитвы, распевая и ударяя себя в грудь кулаком, как в своих храмах, однако не смиленно, а скорее гневно или гордо; никто не обращал внимания на солдат.

*Артур Кёстлер.
Прибытие и отъезд*

В заповеди: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» — уважение к ближнему находит крайнее и наиболее возвышенное выражение.

*Виктор Голланц.
Наши ценности под угрозой*

Нам довелось пережить великие дни, и я рад, что именно в Мюнхене в сентябре 1938-го планета обрела мир. Я тоже видел Гитлера и Муссолини, Даладье и Чемберлена. Разумеется, совсем издали. И все же мой оптимизм оправдался: войны удалось избежать.

Знакомый принес мне «Нойе Цюрхер цайтунг». Он сунул мне газету украдкой, словно боялся слежки. Во Франции, в Англии, в Америке раздаются крайне критические высказывания по поводу нашего мюнхенского пакта. В особенности в Англии нападают на Чемберлена, который, спускаясь по трапу самолета, прокричал своим соотечественникам прекрасные слова: «Отныне мир обеспечен на целое поколение!» Его обвиняют в излишней уступчивости немецкому канцлеру. Войну удалось предотвратить; конечно, теперь легко писать, что нужно было рискнуть и не бояться войны. От чьего имени говорят эти журналисты? От имени своих народов? Я не верю, что какой-нибудь народ в этом мире желает войны. Я не видел военного энтузиазма в Германии. По Карлсплац маршировали солдаты. Их не привет-

ствовали восторженными возгласами. В глазах людей был скорее страх, чем воодушевление, немой вопрос: неужели это все же случится и кто тогда выживет? Немцы в настоящий момент несомненно исполнены гордости и благодарности своему фюреру. А я полагаю, что появившаяся гарантия мира и новое дружеское единение народов облегчат и положение евреев в Германии; по крайней мере, пока не стоит ожидать дальнейшего ужесточения действий в отношении евреев.

Я написал о «положении евреев в Германии», и на бумаге эти слова вновь кажутся мне чуждыми и искусственными. Что это значит: положение евреев? Я не чувствую своей принадлежности к какой-то особой и чуждой группе немецкого народа. В течение пяти лет национал-социалистического господства из меня безуспешно пытались воспитать «расово сознательного» еврея. В 1933 году, когда все естественно сложившиеся отношения были подвергнуты проверке и исправлению в соответствии с категориями расовой теории, я обнаружил, что среди моих друзей и знакомых были почти исключительно неевреи, хотя я этого прежде как-то и не замечал. Некоторые из друзей за это время отвернулись от меня, еврея, другие же сохранили верность и по возможности проявляют по отношению ко мне еще более дружеское расположение, чем прежде. Сам же я считаю себя таким же человеком, как и все прочие. Я гражданин, на-

логоплательщик, я люблю определенный комфорт, я не преступник. Вся эта пропаганда, клеймящая меня как представителя определенной разновидности человеческого рода, к которой я принадлежу по факту рождения, несомненно представляет собой чудовищное заблуждение.

Вот так сюрприз! Я не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю, как мы все всполошились. И Криста тоже задыхалась от волнения, когда звала меня к телефону. Правительственный звонок из Берлина! Телефонистка то и дело кричала: «Повторите ваш номер!» Звонили из рейхсканцелярии. Провода так и гудели от бесконечного «Хайль Гитлер!» — а я и не знал, что ответить. Мне ведь нельзя такое произносить! Наконец я услышал раскатистое баварское: «Здорово, Якль, это ты?» — и облегченно вздохнул. Это, оказывается,obergruppenfюрер Шрек звонил мне из Берлина. Он хороший и верный клиент. Он часто заходил в мой магазин, и я постоянно откладывал для него новинки. В последние годы, когда я порой расстраивался из-за антисемитизма, он всегда успокаивал: «Да брось, Якль, тебя мы не тронем!»

Было еще темно, когда в дверь позвонили. Я проснулся и увидел, что было еще только пять часов. Мне сразу стало понятно, что меня ждет что-то

ужасное. Уже давно поговаривают, что примерно в это время людей «забирают». Я в эти слухи не верил. Но теперь, когда в спящем доме мой старый дверной звонок зазвучал с такой странной и чуждой пронзительностью, мне стало ясно: это правда, это так, это они! Я бросился к двери, словно хотел задушить тревожащий звонок. Как будто я стыдился перед спящим домом этого звука, извещающего: пришли за вором. Конечно, и страх тоже гнал меня к двери, панический, неведомый ранее страх, гнал, словно навстречу избавлению, ведь неизбежное должно свершиться как можно скорее, чтобы стать прошлым. Мои босые ноги мчались по ковру, будто это был тонкий, уходящий под воду лед. Я вцепился в дверную ручку и случайно увидел себя в зеркале стоявшего в коридоре гардероба: толстый, задыхающийся мужчина в слишком короткой сорочке. Я увидел себя таким, каким никогда не видел: ожидающим беды, обездоленным, сломленным. Моя квартира, символ моего обывательского благополучия, словно распадалась у меня на глазах, и налетевшая буря выметала меня в незащищенное пространство, может быть в истинную жизнь, а все прежнее оказывалось иллюзией — надежное дело, торговля почтовыми марками, регистр торговой палаты, налоговый номер, почетные права гражданина. Звонок прозвонил — и мой час пробил. Я поверил во все слухи. Страх, который я пять лет подавлял в себе, бесконечно повторяя «это невозможно, это неправда, со мной этого не

случится», прорвал плотину моей призрачной защищенности как неудержимый, все затопляющий поток. Я ждал побоев, пинков, криков. Мне виделись СС, СА, ГЮ — привычные сокращения партийных организаций, виделись их знамена, их штандарты, их марширующие колонны, а себя я видел лежащим на их пути, под их сапогами, раздавленной жертвой (Боже, почему, почему жертвой?).

За дверью на лестничной площадке стоял все-го лишь знакомый вахтмейстер из нашего полицейского участка. Мы были, так сказать, старые знакомые и до вчерашнего дня здоровались, встречаясь на улице. Его голос звучал тихо и с сочувствием, когда он произнес: «Мне придется арестовать вас, господин Литтнер!» Затем он смерил меня постепенно супротивным взглядом, словно его раздражало, что я стою перед ним в сорочке, и резко рявкнул: «Оденьтесь!»

В полицейском участке у меня отобрали паспорт. Не было смысла спрашивать, почему и почему меня вообще арестовали. Причины я не видел. Но я знал, что причин для этого были тысячи. Их можно было прочесть в партийной печати, в «Фелькишер беобахтер» и в «Штюрмере».

На некоторое время меня оставили в кабинете одного. Никому до меня не было дела. Раньше мне приходилось бывать в полицейском участке, однако ни разу мне не приходило в голову, что

здесь данные о каждом занесены в ячейку карточки, бытие каждого человека доступно для просмотра и вмешательства государственной власти, а сам участок — словно стрелки дьявола, которые могут перебросить тело и душу, бытие и жизненные обстоятельства человека на пути, ведущие в ад. Отныне мое присутствие в этом мире, которое я ощущаю, быть может, малым и незначительным, но все же неповторимым, зависит от присвоенного номера. Моя карточка оказалась в злосчастном ряду. Мне оставалось только ждать, молчать и подчиняться.

Однако из ячейки извлекли не только мою карточку. Похоже, началась большая «акция», и маленькие чиновники безжалостного государства решали этим утром судьбу многих людей — не утруждая совести, делая привычную работу. Комната наполнялась моими товарищами по несчастью, среди прибывших были и дети, со школьными ранцами на плечах. Полиция хватала детей по пути в школу. Все арестованные значились, как и я, евреями с польскими паспортами.

Я не говорю по-польски и никогда не был в настоящей Польше. Однако по гражданству я поляк, потому что мой отец родился в Освенциме. Освенцим входил в свое время в Австро-Венгрию, а после Первой мировой войны отошел к Польше. Я к тому времени уже давно жил в Мюнхене и ощущал себя немцем. Однако Трианонская мирная конференция, тоже высокая государственная инстанция, распорядилась мной и

многими другими людьми, выдав нам польские паспорта. Поскольку все, чего я желал, — быть просто человеком среди людей, до сего дня польское гражданство не доставляло мне ни печали, ни радости. Оно было мне безразлично, за эти годы я почти забыл о нем.

Час от часу теснота камеры и неопределенность нашей судьбы становились все более непереносимыми. Дети начинали плакать, а у старых людей от напряжения сдавало сердце. Около полудня полицейский выкрикнул мою фамилию. Мой адвокат, доктор С., пришел, чтобы переговорить со мной. Доктор С. подтвердил, что я и другие задержанные не подпали под направленные лично против нас санкции, а стали жертвой общего и, так сказать, статистического распоряжения: высылки всех евреев с польским гражданством с территории Рейха.

К вечеру нас посадили на грузовики и повезли за город. Это еще не была отправка в Польшу. Нас ждала тюрьма. Перед воротами тюрьмы Штадельхайм всех высадили. С разных полицейских участков сюда собирали около тысячи человек, и плотный полицейский кордон ограждал площадь перед тюрьмой. Я еще никогда не бывал в тюрьме и никогда не раздумывал о том, как чувствует себя арестованный. Думаю, большинство было в таком же положении. Не знаю, было ли это влиянием времени, или нам уже случалось видеть

подобное в кино, однако мы ловко приспособились к тюремным порядкам, терпеливо строились в шеренгу и послушно шагали друг за другом от ворот к воротам, от решетки к решетке, которые распахивались перед нами и тут же захлопывались за нашей спиной. Наконец мы попали в длинный, широкий коридор, по обе стороны которого тянулись длинные ряды камер. При всей мучительной реальности происходящее было каким-то невероятным и похожим на видение. Отряд охранников взял под свое покровительство стадо заблудших овец. Большинство надзирателей вело себя вполне корректно, разве только все с той же привычной административной безучастностью. Хотя у меня нет опыта, чтобы об этом судить. Но некоторые были так грубы, так жестоки, они гнали людей кулаками, отчего возникало ощущение, что они дают выход своей личной, а совсем не административной ненависти: их натравили на нас, а мы были их беззащитными жертвами.

Я провел свою первую ночь в тюрьме. В камере нас было четверо. Инженер, два торговца и я. Судьба их была схожа с моей: поляки, никогда не бывавшие в Польше, они и говорили по-немецки, а не по-польски. Никто не спал. В коридоре горел свет, и, когда мы заметили, что двери отдельных камер не заперты, возникло оживленное движение, беспокойные, озабоченные визи-

ты товарищей по несчастью, оказавшихся в других камерах. Наша беда случилась так неожиданно, что ни один из нас не был в состоянии полностью осознать, что с ним произошло и что его ждет. Тусклый свет тюрьмы был нашим настоящим, да и будущее представляло не в более радостном свете. Преступнику ясно, что он находится в заключении, потому что совершил то-то и то-то, нарушил такой-то и такой-то закон, и ему остается, если он вменяем, ожидать соответствующего наказания. Мы не знали за собой вины; мы словно угодили под внезапный дождь — вина наша в том, что по стечению обстоятельств мы родились евреями, а ход мировой истории сделал нас поляками. Я не был прежде набожным, но в эту ночь несчастья меня занимала мысль о Боге. Она беспокоила и успокаивала меня разом, и, думая о Боге, я знал, что Он есть и что Он меня защитит. Я не молился с теми, кто в конце коридора прильнул к стене. Со времен моего детства я не видел молящихся на виду у всех евреев. Наверное, еще совсем недавно я был бы склонен наблюдать за ними с усмешкой уверенного в своем превосходстве скептика. Теперь я постиг, что надежда на Бога дает благочестивым опору и что они даже в беде способны сохранять человеческое достоинство, как дарованное высшей силой. Над всеми метаниями, над нашим горем, над нашей надеждой, нашим отчаянием и нашим возмущением, над детским плачем и словами европейских молитв витал запах

тюрьмы, застарелый, затхлый, стойкий запах человеческой беды, человеческой нужды, человеческих испражнений и человеческой вины. Возможно, я тоже прошел как-то мимо бедняги, чья виновность не вызывала у нас сомнений, не дрогнув сердцем.

Утром появились наши одетые в форму надзиратели, проведшие ночь где-то по соседству. На своем жаргоне, похожем на военный, они сообщили, что нам скоро выступать, и вызвали своими указаниями, отчасти дельными, а отчасти бессмысленными, в нашей усталой толпе неуместную, почти истерическую деятельность. Каждый пытался успеть передать весточку друзьям или получить вещи из так неожиданно оставленной квартиры, а то и задержать отправку, требуя юридической или врачебной помощи. Наконец всех нас погнали сквозь строй полицейских за тюремные ворота и снова затолкали в грузовики.

Мы ехали в полицейском поезде. Мы ехали через всю Германию. Мы ехали два дня. День и ночь. Поезд шел то быстрее, то медленнее, то простоявал часами. У него не было расписания, а может быть, у него и было расписание, да только никто из нас его не знал. У двери каждого вагона сидел полицейский. Каждые два часа он

сменялся. Иногда это был добродушный, иногда грубый человек. Вообще же полицейские сидели безучастно, с равнодушным и немного скучающим взглядом. Порой мы останавливались на каком-нибудь вокзале у перрона, на котором стояли отъезжающие и ждали поезда. Это были свободные люди. Это были люди с нашими лицами и нашей вчерашней свободой. Они могли ехать, куда захотят. Они спрашивали про наш поезд, которого не было в расписании и на котором не было таблички, гласящей, что поезд следует в изгнание. Тогда люди начинали сторониться нашего поезда и наблюдать за нами издали. Все это происходило пасмурным, неприветливым осенним днем. Так же пасмурно и неприветливо выглядели и люди. Они не оскорбляли нас, и я не думаю, чтобы они нас ненавидели. Большинству наша судьба была скорее безразлична. Кое-кто, должно быть, хотел бы сказать нам доброе слово, да не отваживался.

Ночью в арестантских вагонах тусклый свет горел только над местом полицейского. Из темноты нашего вагона можно было разглядывать следовавший за нами ярко освещенный спецвагон гестапо. За длинными столами сидели гестаповцы. Работали радиостанции, пишущие машинки, открывались и закрывались папки. Это было воплощение власти и бюрократии, движущаяся инстанция обесчеловеченных властей, в чьих руках мы оказались и которые решали нашу судьбу.

В предрассветных сумерках наш поезд остановился в чистом поле. Мы полагали, что находимся у польской границы, и ожидали позорной процедуры передачи из рук одной государственной власти в руки другой. Одно отечество, которое мы, сделав свободный выбор, привыкли ощущать своим, спихнуло бы нас другому отечеству, с которым нас, кроме бумаги, почти ничего или просто ничего не связывало. Однако ничего такого не произошло. Как будто нас привезли сюда, на убранное картофельное поле, чтобы мы могли понаблюдать, как из тусклой мглы поднимается печальное солнце. «Могли бы и казнить нас здесь, — проговорил инженер, — эти места как раз для смерти». От этой изматывающей нервы поездки в неизвестность приходят в голову абсурдные мысли.

После восхода солнца по картофельному полю стали прогуливаться гестаповцы. Их высокие сапоги были до блеска начищены. Из-за утренней прохлады воротники их кожаных пальто были подняты. Они походили на огромных, жутких жуков, одетых в блестящую броню. Похоже, и они чего-то ждали. Возможно, они ждали приказа, который им должна была передать через этот утренний туман по радио какая-нибудь высшая жукообразная бронированная личность. Наконец они выстроились, должно быть по своему жукообразному ранжуру, в ряд, и один из них, молодой, шустрый, прокричал: «Из каждого вагона по еврею — выходи!» Эти евреи — всю дорогу к нам

обращались не иначе как «эй, еврей» или «эй, еврейка», — спрыгнувши после некоторого колебания с поезда, должны были теперь тоже выстроиться в ряд перед гестаповцами, а те затеяли с ними игру, производившую в этой сельской глухи чрезвычайно комичное и одновременно печальное впечатление. Евреи должны были, как на плацу, держать строй, по команде стоять то смирно, то вольно. Им приходилось приседать, вытягивать вперед руки, выполнять команду «кругом», а руки и ноги их, должно быть, дрожали при этом от страха и холода. Только после этого строевого представления им сообщили, что польское правительство заявило протест против нашей высылки и что мы можем тем же поездом вернуться назад в Мюнхен — причем за свой счет, что обойдется каждому в семь рейхсмарок и восемьдесят пфеннигов. Наша радость не поддавалась описанию. Кто-то плакал, большинство ликовало, и в тот момент Германия, Мюнхен, в котором мы при этом уже несколько лет живем как изгои, казались всем нам родиной, счастьем, своим домом. Мы собрали плату за проезд, и за каждого, у кого не было денег, заплатил кто-нибудь другой.

И вот наконец наш поезд тронулся в медленный обратный путь. Полицейские исчезли от вагонных дверей. Может быть, они едут теперь в вагоне гестапо. Я никогда не забуду то утро на польской границе, наш поезд, останавливающийся в безлюдных просторах, тусклый свет восходя-

щего солнца, ожидание, лютых жукообразных гестаповцев на росистом поле, с их блестящими сапогами и жесткими кожаными пальто. Это были ужасное видение, ужасная местность, ужасная поездка. Сейчас вообще ужасное время! Что-то нам еще предстоит!

Я снова в Мюнхене, снова живу в своей квартире, хожу в свой магазин; самая малость — и можно было бы считать, что ничего не изменилось. Осень подарила нам несколько прекрасных дней. Солнце светит сквозь разноцветную листву каштанов на Карлсплац. Вот уже сколько лет я наблюдаю из окна своего магазина, как они цветут и теряют листву! Ритм мирного города всегда казался мне особенно гармонично отвечающим природному ритму времен года. Был ли я счастлив? Может быть, и был, раз не могу вспомнить, задавался ли я когда-нибудь этим вопросом. О счастье спрашивают, пожалуй, только тогда, когда приходит несчастье. Теперь я знаю, что такое несчастье. Мирная внешность этой осени обманчива. После той поездки в Польшу я чувствую себя как человек, переживший тяжелую болезнь и отведавший напитка смерти. Я заглянул за кулисы этого мира. За внешней стороной жизни скрывается горечь. Я пробудился с ощущением горечи. Сон не идет ко мне. День полон унижений. Теперь евреи с ужасом ждут девятого ноября, большого партий-

ного праздника, партийных шествий по городу, грозовой атмосферы распаленного национального чувства после программного выступления Гитлера в пивной «Бюргерброй».

Жизнь моя теперь связана с еврейской общиной Мюнхена. До моей поездки в Польшу такого не было. Беда и преследования сплачивают. Немецкие евреи, сами живущие под угрозой, помогали нам, польским евреям, насколько это было возможно. Они делали все, чтобы облегчить участь изгнанников, а после нашего возвращения они встречали нас и провожали до наших квартир. Круг нееврейских друзей сужается день ото дня, и уже можно предполагать, что вскоре мы окажемся в незримом гетто. Так что и я все сильнее разделяю опасения общины. Раньше каждое сообщение, которое могло бы привести меня в уныние, я называл слухом и старался не думать о нем. Сейчас я знаю, насколько правдивыми могут быть слухи. Настроение в ожидании девятого ноября ухудшается. Сообщают, что в Париже какой-то еврей стрелял в сотрудника немецкого посольства. Газеты подают это как большую сенсацию. Раздаются требования возмездия, и возмездия требуют от нас, людей, и так живущих в страхе.

День партийного съезда мы провели на Штарнбергском озере. Мы с моей коммерческой партнершей, Кристой, уже ранним утром выехали за город, чтобы избежать всех возможных неприятностей. Как прекрасна эта земля! Серебристая гладь озера была совершенно спокойна. Подернутый полуденной дымкой, вдали мирно поднимался силуэт Альп. К сожалению, наши мысли и наш разговор мрачно контрастировали с воззвенным очарованием этой картины. Я предложил моей партнерше, нееврейке — как глупы все эти обозначения, — вместе со мной создававшей магазин, расторгнуть наши деловые отношения. Криста все еще противится этому решению, которое означало бы для меня отказ от труда всей моей жизни. Однако я не вижу другой возможности, чтобы сохранить оказавшийся под угрозой магазин хотя бы для Кристы. Вечером мы услышали в одном из трактиров переданное по радио сообщение, что сотрудник посольства в Париже скончался от полученных ран. Мы возвращались в Мюнхен в подавленном настроении.

В моей квартире меня ждали: мой друг, нееврей, и один знакомый, врач-еврей. Еврей бежал ко мне, потому что больше не чувствовал себя в безопасности в собственной квартире. Нееврей пришел ко мне, чтобы выразить свое возмущение и, как он сказал, свой стыд по поводу превосходящих все возможные пределы оскорблений евреев, начавшихся после убийст-

ва посланника фон Рата. Это была необычная и опять-таки незабываемая ситуация. Нееврейский баварский друг громко, без обиняков и в резкой форме высказал свое отвращение ко всем лозунгам и методам национал-социализма, в то время как врач-еврей, который в более благополучное время считал бы себя сторонником национал-социалистической партии, а теперь бежал из своей квартиры от эксцессов национализма, пытался найти слова оправдания для идеи отечества в разражающейся буре низменных сил. И пока оба возражали друг другу и распалялись, по радио звучали включения с митингов «против подлых еврейских убийц» и из репродуктора доносились звуки, похожие на лай бешеных собак. Когда позвонили в дверь, испугались мы все. Но это была всего лишь Криста. Она была бледна, и ее била дрожь. Она стала свидетельницей проявления народного гнева, о котором сообщалось по радио. Она считала, что стихийные, по утверждению геббельсовской пропаганды, выступления на самом деле происходят по приказу и режиссируются. Она видела, как били витрины нашего магазина. Когда она попыталась спасти из витрины ценные марки, штурмовики с оскорблением помешали ей, и теперь все это лежит в грудебитого стекла на мостовой. Как ни ужаснуло меня это известие, которое должно было затронуть меня лично сильнее всего, однако боль и возмущение были почти забыты, когда я, буквально онемев, услышал поистине непостижи-

мое: горела большая городская синагога, евреев избивали на улицах, их магазины подвергались безжалостным разрушениям, товары расхищались или просто уничтожались. Это был погром! Я читал в книгах о таких бесчинствах. Они происходили в Польше, в России, где-то далеко на Востоке. Я никогда бы не поверил, даже в последние годы, что подобное может случиться в столице Баварии. Пришла ночь. Если в такой час звонит телефон, ждать можно лишь самого худшего. Не знаю, был это друг или враг, но некто посоветовал мне бежать из квартиры.

Я не убивал, ничего не крал, никого не бесчестил, я не занимался махинациями. И все же я — беглый преступник. И мои приметы известны всем: ату его, он еврей! Ночью на таксомоторе я бежал в Лайм. Друзья приняли меня. Казалось, в их маленьком доме царит мир. Меня приласкали, меня успокоили, меня уложили спать. Однако уже в семь утра меня разбудили, чтобы сообщить с беспокойством и страхом, что патрули СС прочесывают квартал в поисках евреев. Я поспешил на улицу. Я мчался куда глаза глядят. Добыча для любого охотника. Прячась в подворотнях, я видел, как полицейские и партийные активисты выводили схваченных евреев навстречу неизвестности, возможно — в вызывавшие ужас концентрационные лагеря. Когда наступил день, я не отважился двигаться дальше. На

Ландсбергерштрассе я спрятался за старым зданием. С чрезвычайной осторожностью, как мальчишка, играющий в индейцев, хотя мои мальчишеские годы давно прошли, я прокралялся к телефонной будке, из которой мог позвонить Кристе и попросить ее о помощи. Я был охвачен паническим ужасом. Лишь когда Криста появилась в моем убежище, я немного успокоился. Мы вместе пошли в сторону вокзала. Однако когда на улицах стало оживленнее, мужественная Криста тоже начала нервничать, и мы решили, что будет лучше, если она пойдет впереди меня. Для нее как нееврейки было опасно появляться со мной на людях. На одном из перекрестков я остановился. Криста договаривалась с шофером такси. Помедлив в нерешительности, шофер все же согласился отвезти нас. Я сидел, натянув шляпу на нос, в углу машины, что напомнило мне, словно в абсурдном сне, дурной детективный фильм. Сначала мы бесцельно двигались по старому, знакомому и теперь ставшему другим городу. Наконец, после тысячи бесполезных размышлений, нам пришло в голову, что я, собственно говоря, поляк и что в данный момент в этом есть определенное преимущество. Польское консульство должно быть относительно надежным убежищем.

В польском консульстве было много беженцев. Принцип суверенитета вынуждал польское госу-

дарство признать нас своими гражданами и предоставить нам убежище. Так, должно быть, во время восстания в колониальных странах белые люди ищут защиты в экстерриториальных зонах. Мы чувствовали себя как в осажденной крепости, и лишь стены здания и польский флаг над воротами защищали нас от ярости народа. Но правда ли народ обратил на нас свою ярость? Почему они не убили меня давным-давно? Почему раньше жители города были так приветливы со мной? Действительно ли они в ярости или до того оболванены, что их просто нельзя узнать? Криста приходит и приносит мне продукты. Ее положение очень опасно. Если бы стало известно, как она мне помогает, в эти дни ей бы не избежать публичного оскорблении. Однако Криста рассказывает о мюнхенцах, которые тайком пытаются поддержать своего соседа-еврея, оставляя по ночам у его дверей хлеб и самое необходимое.

Я мог покинуть консульство, однако мне не стоило рисковать, возвращаясь в свою квартиру. Меня приютили в семье одного меховщика, жившего напротив пивной «Хофбройхаус». Затаившись в маленькой дальней комнате, я провел бессонную ночь на старой софе, отправленной туда доживать свой век. Под моей комнатой находилось ночное заведение, где пианист до раннего утра беспрерывно наигрывал мелодию одного и того же шлягера, и постоянные повторы

этого печального ритма: «Капли дождя стучат в мое окно», — ввергли меня в полную депрессию. Как часто я в свое время возвращался домой после весело проведенного вечера через маленькую площадь в самом сердце старого Мюнхена! «Торгельштубе» и «Пфельцер вайнштубе», «Хофбройхаус» и «Плацль» — все эти заведения были и для меня излюбленным местом досуга, и никто тогда не препятствовал мне веселиться там в свое удовольствие. Теперь я стал «этим евреем», а верный собутыльник тех времен бросает, ослепленный коричневой заразой, камни в мои окна.

Мне нельзя покидать квартиру меховщика. Днем мне надо вести себя тихо. В соседнем помещении трудятся работники меховой мастерской. Они не должны догадываться, что в доме скрывается еврей. Подмастерья меховщика могут меня выдать, и тогда я, а со мной и их человеколюбивый мастер угодим в концлагерь. Но так ли это? Может быть, и они стали бы мне помогать. Мне стоит проследить за тем, чтобы несчастье не сделало меня излишне подозрительным и несправедливым по отношению к людям.

Убежище у меховщика можно было оставить. Страсти отбушевали. У многих немцев — правда, главным образом у тех, кто и так не принимал

участия в событиях девятого ноября, — проявляется явное отвращение к этой политике поджигательства и грабежей. В народе поругивают правительство и смеются над злыми анекдотами о «ночи разбитых горшков». Мне не до смеха. Я опасаюсь новых волн насилия. Незримое гетто окружает евреев, которые еще якобы свободно расхаживают по улицам. Мне пришлось съехать со своей старой квартиры и перебраться в «еврейскую комнату», то есть к еврейскому хозяину. Всем домовладельцам-неевреям запрещено брать жильцов-евреев. Полиция закрыла мой магазин, и ни я, ни Криста не имеем права в него входить.

Вот еще одно отличие нового времени: я не знаю, как мне быть с Рождеством, встречать его или нет — позволительно ли мне праздновать его. Если я куплю себе елку — будет ли это считаться лизоблюдством, утратой собственного достоинства или, напротив, знаком моей внутренней свободы, независимости от всей пропаганды расовой несовместимости? Благочестивый еврей запретил бы мне наряжать елку, потому что это христианский обычай, а среди национал-социалистов есть наиболее ортодоксальные ревнители, которые считают Рождество как раз европейской напастью, от которой они хотят освободить Германию. До сих пор я встречал этот праздник совершенно наивно, я радовался возможности

делать подарки другим и самому получать знаки внимания от дорогих мне людей. На рождественский вечер я получил приглашение от моего еврейского хозяина и еще одно, от Кристы и ее семьи. Однако больше всего мне хотелось остаться одному. Побитая собака прячется, даже если ее хотят погладить.

В Сочельник я часами бродил по улицам. Изгой, я хотел остаться наедине со своими мрачными мыслями. Атмосфера праздничного веселья действовала на меня умиротворяюще и удручающее одновременно. На Карлсплац я остановился перед своим магазином. Разбитое витринное стекло так и не заменили. Ветер трепал остатки витринной декорации. Владелец соседнего магазина как раз опускал ставни; он узнал меня и сказал, видимо еще переполненный ощущением праздника: «Год выдался удачный, не правда ли, господин Литтнер?» И тут он, похоже, сообразил, какую удачу принес мне этот год, и сразу же переменился в лице, оставив свое приподнятое, довольно настроение; опасливо оглянувшись, он прошептал быстро и осторожно: «Почему вы не езжаете? Здесь уже лучше не будет!»

Я чувствую, будто меня несет по городу ветер. Уже не первую неделю! Внутренняя тревога не дает мне сидеть в моей комнате. Из дверей Фрау-

энкирхе доносится музыка новогодней мессы. Я иду туда и смотрю на горящие свечи. Я вижу коленопреклоненных благочестивых людей, они молятся. Вдруг я чувствую, что их молитвы вызывают во мне какое-то отторжение и ропот. Изменят ли эти верующие люди мир? Восстанут ли они против существующей несправедливости? У входа в старый кабачок возле собора, куда я часто захаживал, висит большая табличка, сообщающая, что евреев здесь больше не ждут. Я иду дальше по узкому переулку к сгоревшей синагоге. Это руины, но лишенные всякой романтики. Видны только следы разрушений. Они как рана посреди города. Должен ли я встать к этой стене и произнести здесь свою новогоднюю молитву, как мои братья перед Стеной плача у разрушенного храма в Иерусалиме? Мысли мои путаются... Выброшенный из привычной жизненной колеи, я обращаюсь к идеям, которые еще вчера показались бы мне навеянными Востоком, идеями из священных книг, из «Тысячи и одной ночи», из глубокой древности. Быть может, Бог вышел из своего собора и сопровождал меня на пути к синагоге. Я, трезвый коммерсант нашего прогрессивного века, ощущаю приливы благочестия, обращаюсь к миру видений, к миру духов.

Мы с Кристой наконец-то получили разрешение войти в наш магазин, чтобы ликвидировать предприятие. Теперь все для меня — прощание и шаг

в неизвестность. Я решил эмигрировать. Мне приходится эмигрировать. В американском консульстве в Штуттгарте я подал заявление на получение визы в Соединенные Штаты.

Немецкие власти действуют быстрее, чем американское консульство. Я получил повестку в полицай-президиум. Там чиновник, совсем даже не отталкивающий, а вполне человечный, сказал мне, не скрывая своего сожаления: «Господин Литтнер, должен сообщить вам кое-что неприятное. Вам надлежит навсегда покинуть Германию, причем в течение двух недель. Вы можете подать прошение, чтобы вам разрешили остаться здесь, однако я уже сейчас могу сказать, что это не поможет. Прошения евреев постоянно отклоняются».

Поистине нелегко быть евреем! Еще совсем недавно необходимость навсегда покинуть Германию показалась бы мне тяжким наказанием, горькой ссылкой. Унижения и опасности последнего времени изменили мое настроение: изгнание представляется мне теперь счастьем и вратами свободы. Однако Германия оказалась тюрьмой не только изнутри, но и снаружи. Чтобы покинуть страну, где унижают мое человеческое достоинство, мне нужна страна, готовая меня принять, мне нужна виза, бумага, документ. Моя жизнь постоянно зависит от клочка бумаги. Я пробую получить разрешение на въезд в Венг-

рию. Мне отказывают. С помощью моего друга в Лондоне я пытаюсь получить вид на жительство в Великобритании. Но и эти усилия тщетны, хотя мой лондонский приятель даже готов взять на себя все расходы, связанные с моим пребыванием. Иностранные газеты много пишут о судьбе евреев в Германии. Однако другие государства закрывают свои границы перед евреем, который пытается избежать этой самой печальной судьбы. Наконец мне удается получить от чешского консула трехмесячную визу на пребывание в Праге.

Первого марта 1939 года я покинул Мюнхен. Я навсегда простился с городом, в котором жил и работал десятки лет, в котором испытал радость и горе, как это бывает в жизни, и в котором я надеялся когда-нибудь спокойно умереть. Национал-социалистическое государство проявило великодушие и разрешило мне взять с собой в дорогу десять марок и чемодан с носильными вещами и бельем — поездка в неведомое, навстречу приключениям. Однако я не жду приключений, я настроен печально. Несмотря на все унижения и опасности, испытанные в этом городе, мой шаг — болезненное расставание; прощаться с более удачными годами прежней жизни тяжело, к тому же пришлось рас проститься с некоторыми дорогими мне людьми. Я никогда не забуду, что многие, несмотря на все дискрими-

национальные меры, не отвернулись от меня и тем самым восстали против всепоглощающей экспансии тоталитарного государства. Они воспротивились его бесчеловечности. Правда, их сопротивление было пассивным. Мне кажется, все дело в том, что немногочисленная элита не признающих насилие противостоит столь же малому числу действительных сторонников насилия. Однако сторонники насилия благодаря примитивной силе овладевают массами, в то время как положение другой стороны безнадежно. И все же я уверен: это значит, что насилие не может победить и что Господь на стороне гонимых, а не на стороне преследователей.

Хотя мои документы, документы еврея, документы высылаемого лица, были в полном порядке — правда, могут ли такие документы быть действительно в порядке? — на границе меня задержали эсэсовцы. Я снова имел возможность убедиться, как горька и недостойна человеческая беспомощность, в которой оказываешься перед любым жестоким или всего лишь рутинно-бюрократическим произволом даже низшего носителя административной власти. Начав свой путь изгнаником, я чуть было не закончил его заключенным, конвоируемым в концентрационный лагерь. А потому страна по ту сторону границы представлялась мне местом великой свободы. Но вот после нескольких часов полного

тревог ожидания и унизительных придирок я получил разрешение перейти на чехословацкую сторону. Я был свободен — с десятью марками в кармане.

На вокзале в Праге Якоб Литтнер растерялся и ощущал себя неприкаянным. Говорят, что Прага — красивый, старый город, город, в котором есть что посмотреть. Надо было как-нибудь съездить сюда! Раньше, в спокойные времена! В момент прибытия прекрасный город кажется ему совершенно жутким, он напоминает густой неведомый лес, в который нужно войти, не зная дороги. В отделении банка на вокзале он меняет деньги, и проворный меняла с презрительным жестом дает ему за немецкую купюру чешские кроны. Первый успех придает уверенности. Любитель приключений склонен ставить все на одну карту. Литтнер берет на все деньги такси и едет в отель. Он снимает комнату и располагается. Его дела не так уж плохи. Ему удалось немного перехитрить СС. Он не может сдержать улыбки, когда думает о том, что эта хитрость удалась именно благодаря его профессиональным знаниям. В его чемодане было несколько старых писем. Никто не обратил на них внимания. Однако на них были ценные марки, и теперь он может их продать. Литтнер надеется, что ему удастся осесть в Праге. Он встречает людей, которые с ним приветливы. Однако Прага пол-

на беспокойства и страха. С севера над чехословакским государством как страшная гроза нависает Рейх. Литтнер пытается получить португальскую визу и транзитную французскую визу. Но уже слишком поздно.

Настроение в Праге подавленное. Люди, которых я прошу помочь мне остаться здесь на более долгий срок, сами подумывают об отъезде. Многие смотрят на меня как на идиота из-за того, что я решил бежать именно к ним. Они не могут даже представить себе, насколько мала была для меня возможность выбирать свое будущее. Слухи усиливаются, и 14 марта город, похоже, начинает охватывать паника. Все ждут вторжения Гитлера. В моем отеле вечером никто не ложится спать. В пять часов утра слухи становятся фактом — немцы заняли Прагу.

Мы пошли на Вацлавскую площадь. Она была темной от множества униформ, местные немцы махали флагами со свастикой и с невероятным восторгом приветствовали немецкие войска. Мне бросились в глаза воинственно настроенные штатские в белых чулках, и мне сказали, что белые чулки уже давно являются тайным, но всем известным знаком национал-социалистов среди здешних немцев. В выходящих на площадь улицах толпятся чехи — словно потерявшиеся дети.

С одной стороны слышатся грохот марширующих сапог и крики «хайль!», с другой — с трудом сдерживаемые рыдания. Вот еще один великий день, исторический день! Но поскольку я не принадлежу к числу победителей и не ослеплен победой, я хочу быть как тот фарисей во храме: «Боже! Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Чехословацкое государство рухнуло. Последствия не может предугадать никто. Германия нарушила Мюнхенское соглашение и бросила вызов державам, подписавшим его. Быть может, Германия сделала сегодня первый большой шаг навстречу еще неизвестной судьбе. Кто сеет ветер, пожнет бурю! Возвратившись в отель, я обнаруживаю, что он занят. В нем царят новые господа — в коричневой униформе. Номера необходимо освободить до трех часов дня. Я собираю чемодан и отправляюсь на вокзал. Да и куда я пойду, беженец, как не на вокзал, а потом все дальше и дальше — как Вечный жид!

Переполненный поезд до Остравы все еще стоял на вокзале. Говорили, что поезд пойдет дальше в Польшу, и именно поэтому он был так переполнен. Действительно ли он туда пойдет, не знал никто. Пассажиры надеялись на это. Пассажиры были евреями, которые достаточно читали и слышали о Третьем рейхе, чтобы бежать от него, когда он пришел к ним. Они связывали с Польшей невероятные надежды. Но пока что каза-

лось, будто мы навсегда останемся с нашим поездом на пражском вокзале. Вокзал был занят немецкими войсками. На всех путях стояли часовые. Наконец, когда уже начало темнеть, поезд тронулся. Немецким часовым не было до нас дела. Они стояли неподвижно, в касках, с винтовками в руках. Они как будто ожидали чего-то, неизвестно только, чего именно. Быть может, они ожидали героической смерти. Но Прага была взята без боя.

Ночью мы пересекли польскую границу. Многие из наших евреев громко молились. Они благодарили Бога за свое спасение. Они запели псалмы. Но разве Польша — земля обетованная?

Польша — не земля обетованная. Волею судеб это страна, чей паспорт мне выдан, моя родина, которую я никогда не видел, и это порядком осложняет мою жизнь здесь. Уже первый полицейский, пришедший поутру проверять маленькую, дешевую гостиницу, был раздосадован тем, что я не понимал его, и, показывая на мой польский паспорт, он выражал недовольство по поводу того, что я говорю по-немецки. К сожалению, я не говорю по-польски. Полицейский оказался националистом — он обошелся со мной плохо. Подобные происшествия могли пошатнуть мою веру в человечество и заставить меня поверить в

расовую бредятину Гитлера. Тогда для еврея, не имеющего своего собственного национального государства, оставалась бы только одна цель и одно спасение: сионистское государство. Я думал когда-то, что мы все это преодолели, и стремление на землю обетованную через новый, еврейский национализм казалось мне регрессом, потому что при добрых людях вся земля могла бы быть землей обетованной. Добрые вымирают. Земля обетованная далеко. Мы живем в мрачном столетии.

Случай, судьба, счастье, несчастье — не знаю, как все это назвать, — меня носило по стране, и что-то привело меня в Бельско-Бяла, город, в котором проживало очень много евреев, говорящих по-немецки. Евреи, в том числе и презираемые немецкими евреями их восточные соплеменники, в Польше без разбора считаются немецкой средой и являются — или являлись — в литературе, музыке и театре самой надежной опорой немецкой культуры, хотя сегодня это звучит скорее как гротеск.

В пятницу вечером я пошел в большую синагогу. Она была заполнена до отказа. Меня потрясли торжественность и проникновенность службы, твердость веры молящихся. Внешние атрибуты большого иудейского богослужения были мне прежде чужды. К тому же среди западноевропейских евреев больше не найти такой обращенности к Богу, такой преданности вере

отцов, такого упоения ритуалом молитвы. Впервые после моего изгнания из Германии я обрел чувство родины. Быть может, мои скитания, мои унижения, моя беззащитность перед случаем или судьбой — все это возвращение к истинному еврейству?

Проходит лето, жаркое, красивое лето, лето в чужой стране. Деревья цветут и приносят плоды, но это чужие деревья, чужие цветы, чужие плоды. Бежавших из Германии в Польшу евреев прозвали «у нас». «У нас» — это значит лучше, быстрее, чище, это порядок, «у нас» все работает, «у нас» все идет как надо, «у нас» — это тоска по Германии, даже по Пруссии, это Бреслау, Берлин и Мюнхен, а к тому же легкая надменность и неспособность вызвать симпатию у местных. Я тоже грежу о Мюнхене и об удобном мюнхенском быте, пока не читаю в газетах о новых проявлениях варварства в этой самой стране «у нас».

Я уехал из Бельско-Бяла и перебрался в Краков. Это красивый город со множеством средневековых построек, напоминающих мне одну поездку в Нюрнберг — это было еще до того, как там начались партийные съезды. В Кракове я встретил моего сына Золтана. Из чувства юношеского протеста против фашизма он еще раньше уехал из Мюнхена и вот теперь — а он, как и я, поляк благодаря Трианонскому договору, заклю-

ченному еще до его появления на этот свет, где так много национальных государств, — теперь мой сын призван в польскую армию. Я вижу его в форме, симпатичного молодого человека, и еще год назад я бы, наверное, с гордостью сказал: «Он бравый солдат». За это время люди в форме причинили мне столько горя и унижений, что я могу смотреть на моего сына-солдата лишь с печалью, даже если и сознаю, что он призван сопротивляться злой силе, преследующей меня своей ненавистью.

Я пытаюсь устроиться на чужбине. У госпожи Янинь я нашел комнату и некое подобие нового домашнего очага. Я завязываю знакомства и на-деюсь, что мне, может быть, удастся вновь открыть свое дело, на этот раз в Кракове. Однако Германия не успокаивается, словно закованный в броню великан, она замахивается на сопредельные страны. Чехия пала. Последует ли за ней Польша? Настроение здесь предвоенное. В нашем доме уже проводилась учебная воздушная тревога. Госпожу Янину назначили старшей по убежищу. Ей выдали рожок и большой колокольчик, чтобы она могла поднимать тревогу. Мы очень смеялись. Мой сын был отправлен в полевые части. Мы обнялись на прощание, он вскочил в последний вагон и помахал мне сквозь грязное окно, которое не открывалось. Он тоже вдруг показался мне пленником судьбы. Тяжело было у меня на сердце, когда я видел, как поезд увозит его.

Первого сентября началась война, которую давно ждали. Которая должна была случиться, ужасная война, будь она проклята и благословенна! Будет ли это война Гитлера против мира или мира против Гитлера? В пять утра нас разбудилвой сирен. Это было всерьез. Теперь нам будет не до смеха. Госпожа Янина даже не успела воспользоваться рожком и колокольчиком. Проходил час за часом, а мы оставались в бомбоубежище. Мы сидели в подвале, за толстыми стенами которого, как нам хотелось надеяться, можно было считать себя в безопасности, и прислушивались к военным действиям наверху, к жужжанию самолетов, к трескотне зениток, и, наконец — мы ждали этого, — к грохоту, тяжелымударам, брызгам осколков, к тому, что должно происходить при разрыве бомбы. Если бы мы были солдатами, то произшедшее вполне можно было бы считать нашим боевым крещением. Но мы были штатскими и не знали толком, как нам найти равновесие между присутствием духа и страхом, которые то и дело сменяли друг друга.

Я был на улице и видел, что такое война. Я видел пожары и разрушения. Я видел вокзал, охваченный огнем. Больше всего меня испугало то, что это зрелище меня не ужасало. Я уже давно думал о войне как о возможном кошмаре. С одной стороны, я в оцепенении, с другой — вижу, что ужас происходящего вполне соответствует

ожиданиям. Я не ошеломлен и удивляюсь, что другие в отчаянии ломают руки. Как они себе это представляли? Парады, знамена, военные оркестры? Война в нашем веке — не что иное, как беда и смерть.

В нашей квартире появились люди, потерявшие кровь, и в моей комнате тоже есть теперь бездомные. Я все еще не умею как следует говорить по-польски, и, если нужно объясняться, приходится говорить по-немецки. Воздушный налет вызвал не только пожары, он вызвал и ненависть к немцам. Я подвергаюсь оскорблений, потому что меня принимают за немца. Люди разных национальностей напоминали натравленных друг на друга собак. Кто не думает о ненависти, кто хочет просто жить, все больше проникается чувством, что оказался в мире безумцев. Мне остается только молчать. Сейчас мои мысли лучше не высказывать ни по-немецки, ни по-польски. Господи Янине то и дело приходится объяснять, кто я такой: один из тех, кто бежал от Гитлера! Кругом все боятся шпионов, вот была бы скверная шутка, если бы меня в конце концов поставили к стенке как нацистского агента.

Похоже, что польский фронт прорван. Один за другим разносятся самые дикие слухи. То и дело появляется кто-нибудь и сообщает, что немецкие

танки уже на окраине. Неописуемая паника охватила людей. Прямо-таки бесконечный поток беженцев движется через город на восток.

Мы с Яниной тоже обсуждаем возможность присоединиться к беженцам. Война идет всего четыре дня, а скольких она уже успела сделать несчастными! Я думаю о Кристе, оставшейся в Мюнхене. Она меня не забыла. Ее письма рассказывали мне о моей прежней жизни. Теперь и эта последняя ниточка оборвалась.

Мы, двадцать три человека, двадцать три беженца, выезжаем на грузовике из Кракова. Позади остался полыхающий город. Склад табачной фабрики у дороги горел ярко, словно факел. Когда происходит такое, высвобождаются низменные инстинкты. Начались грабежи. Кошмарные, не виданные ранее типы решили, что настал их час, и ликуют в танце перед открытыми вратами ада. По улицам ни пройти, ни проехать. Транспорты с беженцами и войсковые колонны перепутались. Царит хаос! Это катастрофа! Немецкие самолеты на бреющем полете проносятся над нами. К чему бежать еще куда-то? Если бы я был один, то наверное остался где-нибудь. Я уже так устал, но госпожа Янина не дает мне остановиться: дальше, дальше, дальше!

К вечеру мы добрались до какой-то деревни. Машину спрятали под деревьями, чтобы ее не заметили с воздуха. Мы зашли в крестьянский дом. В просторной комнате стоял длинный стол со множеством фигурок святых и горящими свечами. Вокруг стола наложили соломы, и мы, беженцы, спали все вместе с набожными селянами под защитой святых. Наш хозяин был человеком старого склада, он не спрашивал, кому его мадонны должны давать приют.

Ночь прошла спокойно. Мы проснулись бодрыми. На завтрак было молоко с хлебом. Потом мы вернулись к нашему грузовику. Но дороги были до того забиты беженцами и отступающими войсками, что надежды пробиться на машине не было. Начался изматывающий пеший поход. Это был путь страданий. Мы шли в толпе изгнанных и обездоленных. Наконец мы добрались до большого моста через Вислу. Поселок у моста назывался Щуцин. Перед мостом снова образовался затор. Когда же мы, пройдя строгий контрольпольской военной полиции, добрались до другого берега, на горизонте появились немецкие бомбардировщики. «Мост, мост!» — кричали люди, и каждый старался отбежать как можно дальше от явной цели налета. Когда я обернулся на бегу, то увидел, как бомбы отделились от самолетов. Мы бросились на поле и вгрызлись в его борозды. Мост взлетел на воздух, а взрывная волна про-

шлась по нашим спинам, как жуткое прикоснение смерти. Видно, таков удел человека в наше время — зарываться от страха в землю, превращаться в мышь, прячущуюся от железных стервятников, которых она создала на свою голову! Что стало с мечтой Икара? «Куда приведет нас наш путь?» — спрашивал я себя, уже утомленный этой бесконечной гонкой за свободой и жизнью.

Мы добрались до Львова, и город напоминал взбудораженный муравейник. Жители, казалось, бесцельно носились по улицам. Немецкие самолеты постоянно кружили над городом. Время от времени завывали сирены, но никто уже не знал, были ли это тревога или отбой. Кое-где горели дома. Мертвые лежали на улице, и никто не подбирал их. Молоденькая девушка, казалось, прилегла поспать, но из ее волос стекала тонкая струйка крови. Двери часовни были распахнуты, ветер колыхал огоньки свечей перед иконой Богоматери. Женщины в простых платьях и женщины в элегантных, может быть, парижских платьях преклонив колени молились. В этот момент Львов производил на меня впечатление очень восточного города. Однако неотвратимость смерти, презрение к жизни отдельного человека станут в этой войне не только восточным, но и всеобщим явлением.

У нас снова появилась возможность ехать на грузовике. Мы проехали Тернополь и увидели там такую же неразбериху, как и во Львове. Невыспавшиеся и измотанные дорогой, мы к утру добрались до Залещиков на Днестре, городка на польско-румынской границе.

Мост через узкую реку ведет в Румынию. Залещики — известное место летнего отдыха, и впечатление от него вполне мирное. Война и ее ужасы еще не достигли этого городка. После охваченных паникой городов улицы кажутся нам пустынными. Мы пока единственны беженцы и на нас смотрят с интересом. Мы с Яниной быстро нашли жилище, а в одном из ресторанов — возможность отлично и недорого поесть. После этого мы увидели на рынке горы огромных дынь, по цене в несколько пфеннигов за штуку. У меня странное чувство, будто я в последний раз вижу картину изобилия в этом мире.

Но и этот рай уже разрушен. Поток беженцев достиг Залещиков. Дыни исчезли с рынка. Цены растут. У моста в нейтральную страну скапливаются люди. Граница закрыта. Лишь немногим счастливым обладателям визы удается бежать от войны. В толпе много людей духовного звания.

На рассвете 16 сентября нас будит рокот моторов. Поначалу мы испугались, что это налет немецкой авиации. Однако это были бело-красные польские самолеты, целый день они беспрерывной ве-реницей летели через границу в Румынию. Волна за волной скрывались на той стороне. Это был конец! Польша капитулировала.

После полудня граница с Румынией была открыта, и все устремились через мост. Я стоял на бере-гу Днестра. Я видел хаотическое движение бе-женцев по мосту; на той стороне я видел еще не тронутую войной землю. Меня вырвали из нор-мальной жизни не сегодня. Мне предстояло ре-шить, стоит ли двигаться дальше, бросаться в во-доворот только что лишившихся родины и попробовать укрыться от Гитлера, до сих пор по-стоянно нагонявшего меня, в Румынии. Ничто не держало меня в Польше, и ничто не ожидало в Румынии. И все же в Польше я обрел одного че-ловека, а в странствиях спутник значит много. Госпожа Янина хотела остаться в Польше. А ког-да я узнал, что эту часть Польши займут не нем-цы, а русские, то я тоже решил остаться. Я по-немногу привык смотреть на свое будущее как на *terra incognita*.

Русские заняли Залещики. Граница с Румынией снова закрыта. Кто мы теперь — свободные или

заключенные? Русских повсюду встречали с радостью.

Я вернулся во Львов — этот город также занят русскими. Здесь много изгнанных и беженцев с территорий, оккупированных немцами. С жильем очень туга. Мне еще повезло, что одна семья предоставила мне на кухне кровать бывшей прислуги. И все же надо приспосабливаться. До чего же человек живуч! Я подумываю о том, чтобы снова заняться торговлей и открыть здесь магазин. В другие, более пессимистические минуты подобные серьезные планы вызывают у меня усмешку.

Русские вводят во Львове жесткий контроль. Нам приходится часто отмечаться в полиции. Выдают два вида паспортов: одни, с которыми можно оставаться во Львове, и другие, с так называемым одиннадцатым параграфом, для политически неблагонадежных. Несмотря на все усилия, мне пока не удалось получить хороший паспорт. Я простаивал целыми часами, даже днями перед управлением полиции, не имея вообще возможности переговорить с кем-нибудь из чиновников. Принцип безличного управления людьми получает в наше время повсеместное распространение. И здесь маленький государственный служащий, письмоводитель и хранитель печати, распоряжается как Господь Бог тысячами человеческих судеб. Оказывается, во Львове могут оставаться только те, кто жили здесь до прихода русских. Естественным, я бы сказал, челове-

ческим следствием такого бюрократического распоряжения стала процветающая торговля фальшивыми свидетельствами. Я тоже приобрел себе такое. Однако я не отваживаюсь предъявить его. Гонимый нуждой, я не испытываю моральных затруднений, которые помешали бы мне хитростью проскользнуть сквозь щели жестокого закона, — но я боюсь. У меня накопилось уже слишком много печального опыта в общении с государственной властью.

Стоит стужа, и улицы покрыты глубоким снегом. Все больше людей ссылают в глубь России. Поскольку у нас нет хороших паспортов, нам с Яниной приходится быть очень осторожными. Мы часто ночуем в чужих квартирах, а однажды я провел ночь в тамбуре между двойных дверей. Меня не преследуют как еврея, но все же я подпадаю под очередные «меры», и снова я — гонимый.

Игра в прятки не помогла, и наша судьба нас настигла. Мы получили паспорта с одиннадцатым параграфом, и нам пришлось покинуть Львов, перейдя по крайней мере километров на сто за демаркационную линию. Мы отправились в путь — прямо посреди зимы. Иногда нам удавалось подъехать на поезде, довольно часто приходилось идти пешком. Мы бродили от ме-

ста к месту в поисках квартиры. Но местные власти не желали давать нам прописку; все они, маленькие бюрократы, боялись, что из-за нас у них возникнут неприятности с более высокими бюрократами, их начальством. Наш случай был неясным. На наше несчастье, мы не подходили под стандартную схему бюрократической писанины. Гитлер изгнал меня, потому что я еврей. Зато русские готовы были записать еврея в немцы.

Совершенно больной я добрался до Збаража, города в Тернопольской области. Я думал, мне конец! Я совершенно обессилен. Ноги у меня распухли. Грозило заражение крови. И тут произошло чудо! Нас приняли. Больше того — меня положили в больницу. Польско-еврейский врач прооперировал, а русские медсестры самоотверженно выхаживали меня. Они носили высокие мужские сапоги, но двигались по палатам удивительно тихо, походя в своих белоснежных халатах на странных тихих зимних птиц, живущих на просторах востока.

Я вышел из больницы. Я обнаружил, что Збараж — это милый городок с церковью, монастырем, синагогой и развалинами средневекового замка. Я слышу, что Гитлер завоевывает мир, что он уже в Норвегии, в Голландии, в Бельгии и Па-

риже. Из репродукторов доносятся отголоски этих событий, а сами события кажутся здесь удивительно далекими. Я ускользнул из центра урагана. На этот раз Гитлер не погнался за мной. Могу ли я перевести дух? Могу ли обустроиться? Могу ли пустить корни? Городок спокоен, но мир по-прежнему ужасен.

Мы пытаемся наладить мирный быт. Мы оба, Янина и я, нашли заработок. Збараж оказался приветливым местом. Изредка покой нарушали трубные звуки фанфар из соседней квартиры: немецкое радио сообщало миру о тоннаже очередного потопленного немецким флотом судна. Гитлер ополчился против Англии. Гитлер обрушил на Англию авиацию. И все же Гитлер до Англии не добрался. Из русских газет мне переводили сообщения об авианалетах на Лондон. Злой демон не успокаивался и добывал свои кровавые трофеи в водах и воздушном пространстве Западной Европы. Но и на немецкие города обрушились бомбы. Снова стали приходить письма от Кристи. Опасаясь цензуры, она выражалась витиевато, но письма были проникнуты скрытой тревогой. Подло зажженное пламя войны полыхало все ярче. Похоже, уже никто не мог его погасить. Можно было опасаться, что несчастье снова найдет к нам путь. До 22 июня страх постоянно нарастал. Потом все началось, и избавление от неизвестности стало почти что облегчением: Гитлер

перешел русскую границу. Он пошел дорогой Наполеона и кончит так же, как он. Но для нас это будет дорога страданий.

Русская мобилизация идет стремительно. Все годные к военной службе мужчины призваны в армию и отправлены на восток, наверное для подготовки.

Немцы наступают. В нашем городке уже появились первые беженцы. Я снова вижу знакомую по Польше картину: скитания растерянных, изгнанных с родных мест людей. А перед нами вновь встает вопрос, присоединиться ли к бегущим или остаться здесь. Мы с Яниной советуемся всю ночь. Мы приходим к выводу, что просто не перенесем новых лишений. И мы остаемся, хотя из соседнего города Броды уже доносится грозный рокот орудий.

Адище войны снова вокруг нас и над нами, наши нервы на пределе. Над городом кружат самолеты. Упали первые бомбы. В последнюю минуту мы все же пытаемся добраться подводу. Но ничего не выходит. Движущиеся через город голодные беженцы осаждают магазины: хлеба нет.

Артиллерийский огонь усилился и стал ближе. Город словно вымер. Мы смирились с неизбеж-

ностью и, как все, кто остался в городе, спрятались в подвале, чтобы пересидеть бушующую на верху войну.

Взрыв за взрывом сотрясают землю. Снаряды ложатся совсем близко. Не исключено, что нам никогда не выйти отсюда. Нас разнесут в клочья, хотя мы не принимаем участия в этом бою. Мир охвачен пожаром, а мы жертвы, потому что это наш мир. Это не благая смерть. Что я сделал не так в моей жизни, что я упустил, что я мог, что я должен был сделать, чтобы противостоять ужасу и предотвратить его? Я был коммерсантом в Мюнхене. Я жил тихо и честно. Я ни о чем не заботился. Этого было мало! Быть может, у меня была своя миссия. Будущее было даровано нам, а мы его упустили. Каждый человек в Европе страдает от ужасных событий, которые изdevательски именуются «великой историей». История предстает передо мной в образе огромного упыря с головой Гитлера. В отчаянии я выбираюсь из подвала и вижу вдали тяжелые облака черного дыма, за ними море огня. После короткого затишья взрывы возобновляются. Барабанные перепонки на пределе.

Артиллерийский огонь перешагнул через нас и двинулся дальше на восток. Мы остались в нашей комнате. Мы стоим у окна и смотрим на главную улицу. Рядом со мной Янина и еще одна женщина. Ее руки сжаты от ужаса. Невыносимое напря-

жение исходит от пустынной улицы. Мы все чувствуем: сейчас они должны появиться. И точно! Первый серый танк выруливает на улицу. Он закрыт флагом со свастикой, должно быть, это опознавательный знак для своих летчиков. Неожиданно раздаются выстрелы и завязывается бой. Я вижу, как огонь вырывается из танкового орудия, и оттаскиваю женщин от окна. Мы снова бросаемся в подвал. Наверху творится светопреставление. Серый танк был первым вестником.

Мы завоеваны. Ночью шел дождь. Улица была забита танками и машинами. Между ними блуждала брошенная старуха, явно выжившая из ума. Горящие дома освещали картину.

Перед нашей дверью разбит бивак. Немецкие солдаты приходят и уходят. Они ведут себя очень гуманно и пристойно, похоже, они рады, что могут говорить с нами по-немецки. Они прибрали к рукам городской склад яиц, и мы должны жарить для них на нашей плите яичницу безостановочно, как на фордовском конвейере. Нас и других евреев, оказавшихся поблизости, тоже приглашают поесть. В подразделении есть австрийцы и баварцы. Перед смертью им хочется, что называется, «закусить», начальство дало им на это час, и они действуют по мюнхенскому правилу «живи и жить давай другим». Из расположенной неподал-

леку пивоварни прикатывают несколько бочек пива, и я выполняю роль кельнера. Меня тут же приглашают выпить, я говорю на баварском диалекте и чувствую себя, как в пивной «Хофбройхаус» в Мюнхене.

Солдаты двинулись дальше. Мы провели ночь без войск и без правителей. Мы живем в вакууме власти. Совсем ненадолго мы оказались в условиях полной свободы, оторванные от всего, за пределами цивилизации. Стоит тихая ночь. Для меня это ночь без сна. Мысли и заботы одолевают меня. Я размышляю о своей жизни, о своем маленьком «я» и его месте в этом времени. Встреча с немецкими солдатами из Баварии на мгновение пробудила во мне сентиментальное чувство родины. Я увидел отдельного человека из страны, в которой я когда-то с удовольствием жил; я видел не солдата и совсем забыл о принципе, которому он сегодня служит. Нескольких баварских выражений было достаточно, чтобы смягчить меня. И только слова «после нас придет СС» вернули меня из моих грез в жестокую реальность. Солдаты отделяли себя от нацистских соединений, которые следовали за ними. «Тогда вам придется плохо», — сказал один из них. Я ему верю.

Ранним утром снова шум движущихся войск! Теперь это солдаты с черными хищными птицами

на машинах и на мундирах. Это СС! Глухая тяжесть ложится мне на сердце, цепенящий холод сдавливает грудь. Черные машины похожи на траурную призрачную процессию. Небо темнеет, и дождь усиливается.

СС действует решительно. В свое время в Париже был очень моден театр «Гран Гиноль». Это театр ужасов. Актеры играют не людей, а исчадий ада, отъявленных негодяев; у зрителя мурашки бегут по коже, но, когда он выходит на улицу, у него возникает чувство приятного облегчения: ведь это было представление, а не реальность. Здесь же была реальность. Синагогу подожгли; Варфоломеевская ночь словно вернулась из истории в настоящее. Грабежи, убийства, насилия обрушились на нас как гроза. Ни одной европейской квартиры не пощадили. И это не конец, это только начало кошмара.

Моего соседа напротив зовут Хиндес, он торговец зерном. Перед воротами его дома эсэсовец потребовал передать ему ключи от амбара. Когда тот спокойно и вежливо объяснил, что уже отдал ключи отходившим русским войскам, эсэсовец начал его оскорблять. Ругань услышали двое других эсэсовцев, беседовавших поодаль. Один из них прервал разговор, вытащил пистолет и застрелил старика Хиндеса. После этого он закурил

и продолжил беседу. Спокойствие, с которым все это проделал эсэсовец, ужаснуло меня еще больше, чем то, что он застрелил торговца.

Хиндес все еще лежит перед своим домом. Иногда, когда на улице никого не видно, госпожа Хиндес отваживается потихоньку выйти, чтобы на несколько секунд склониться над мертвым. Я вижу все это сквозь щель в закрытых ставнях нашего окна.

Сегодня двум евреям дали задание увезти Хинде-са на тележке. Его похоронили у сожженной синагоги, а наблюдавшие за этим от нечего делать эсэсовцы издевательски комментировали происходящее. Там обрели свой вечный покой и другие убитые таким же образом. Вечером застрелили госпожу Хиндес.

Идет охота на евреев. Их преследуют, словно диких животных в джунглях. Джунгли — это Збараж, маленький город на востоке, ничем не примечательное место. Половина домов разрушена, половина еще стоит. Нас угораздило оказаться в центре событий. Штаб-квартира немецких войск все время оказывается перед нашим окном, и, быть может, мы обязаны нашими жизнями именно тому обстоятельству, что убийцы стесняются своих.

Основная часть эсэсовцев двинулась дальше, на Тернополь. Ходят ужасные слухи об урожае, который они там сняли. Говорят, в первый день было расстреляно пять тысяч евреев.

Макс Фрёлих, житель нашего городка, был в Тернополе, когда туда вошли войска СС. Его тоже застрелили. Но его рана оказалась не смертельной; с пулей в животе он без сознания пролежал какое-то время под трупами. Ночью пришел в себя. Он выбрался из-под трупов и дополз до дома, где живут друзья. Нашелся врач, перевязавший его тайком и с риском для жизни. Следующей ночью его доставили обратно в Збараж, спрятали, и он лежит в горячке через несколько домов от нас.

К СС присоединилась неожиданно организованная украинская полиция. Поначалу мы надеялись, что с ее появлением жизнь наша станет легче, на самом же деле с тех пор, как она начала действовать, наше существование стало просто невыносимым. Поскольку эта украинская организация зависит от СС и обладает властью только благодаря СС, ее представители стараются даже превзойти своих немецких нацистских наставников в жестокости. Каждый день приносит тысячи мучений. Молодые парни завели моду обрезать бороды старым набожным евреям.

Они считают, что это замечательная и безобидная шутка. Служка синагоги, старый, благочестивый израэлит, повесился, после того как с ним это случилось.

Я надеялся, что введение постоянной немецкой администрации хотя и принесет с собой множество бюрократической волокиты, зато положит конец полной анархии. Администрация теперь существует: комендант города, уполномоченный по сельскому хозяйству и окружной комиссар. Комендант — человек, которому абсолютно безразлично, что вокруг него происходит. Он сидит в домашних тапочках в доме, который себе выбрал, и безостановочно поглощает жареных уток. Как бы мы хотели, чтобы все немецкое начальство было таким! Уж мы бы старались изо всех сил и продали или обменяли бы все, что у нас есть, только бы они ели своих уток и, смягчившись, забывали обо всех этих преследованиях, не жаждали человеческой крови, как это поется в их песне: «И кровь еврейская с ножа течет». Уполномоченный Пфайфер и комиссар фон Брауншвайг — люди другого склада. Я очень хорошо представляю себе, каким был Пфайфер у себя дома: незначительная личность, маленький человек с маленьким заработком, с неудовлетворенными амбициями и под каблуком своей увядшей жены. Здесь же, чтобы ощущать важность собственной персоны, он расхаживает с хлыстом, и, если по-

падается кто-нибудь, чья физиономия ему не по нраву, избивает его. И наконец, окружной комиссар фон Брауншвайг! Это настоящий царь милостью Гитлера в своем маленьком восточном царстве. В его честь устраивают пышные празднества, и, когда алкогольные пары ударяют ему в голову, он принимается за организацию оргий — или того, как он это себе представляет. Никто ему не препятствует. Однако его попытки безуспешны. Результат его расстраивает, и он впадает в ярость. Тогда о ночном покое можно забыть, начинается стрельба. Фон Брауншвайг и его гости палят из пистолетов по холодно и равнодушно скользящим по небу звездам, чтобы забыть о том, что нет в их жизни радости, чтобы забыть о страхе, о внутренней пустоте. Однажды посреди ночи они под настроение заставили звонить в церковные колокола. Что-то не дает им покоя. Лучше уж пусть пьяные гоняются за девушками. Но это, наверное, обычное занятие завоевателей во все времена.

Появляется распоряжение: евреи должны приветствовать немецких солдат. Следом идет запрет: евреям нельзя приветствовать немецких солдат. Мы и не приветствовали. Но солдаты уже и не знали, какое указание теперь действует на этот счет. Если мимо еврея ехала военная машина и тот приветствовал солдат, машина останавливалась и еврея избивали. Если же еврей шел мимо и не

обращал на машину внимания, машина тоже останавливалась и еврея избивали, теперь уже за то, что не приветствовал. Поскольку мы уже не знали, что нам полагается делать, а все эти приветствия стали для нас вопросом жизни и смерти, нам не оставалось ничего другого, как прятаться от любого немецкого солдата. В Збараже теперь можно было то и дело видеть евреев, которые, наткнувшись на немецкого солдата, принимались с большим или меньшим успехом прибегать к страусиной политике, зачастую буквально пряча голову в уличную грязь.

Повсюду расклеили плакат, на котором изображена огромная вошь. Текст на плакате гласит: «Только у евреев водятся такие, и эти вши переносят болезни. Берегитесь евреев!»

Вечером машина с громкоговорителем объявила, что все евреи в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет должны явиться завтра к семи утра на рыночную площадь. Чтобы не опоздать, я встал в это утро очень рано. Я собирался со всей тщательностью; я не знал, что от нас могут потребовать, но на всякий случай хотел производить по возможности хорошее впечатление. Когда я собрался выходить, оказалось, что дверь заперта. Янина забрала ключ и отказывалась вернуть его. Ее тонкое чутье подсказывало ей, что

объявленное сборище на рыночной площади та-
ит в себе несчастье, от которого она хотела меня
уберечь. Все мои доводы, что я должен пойти и
что мое отсутствие может навлечь на нас большие
неприятности, не помогали. Янина твердо стояла
на своем и не возвращала ключ. Через окно мож-
но было видеть, как все спешили на площадь. Че-
рез несколько минут после назначенного срока
на площади началась паника. Люди разбегались
во все стороны или, по крайней мере, пытались
это сделать. Украинская полиция и СС окружили
площадь и силой удерживали толпу. Затем у каж-
дого выяснили возраст и профессию, проводя
своего рода освидетельствование. Затем людей
разбили на две группы. В первой оказались те,
кто был одет поприличнее, люди с образованием.
Во вторую попали все прочие. С этой второй
группой провели краткие строевые учения, после
чего построили в колонну по четверо и увели на
работы. Тех, кто попал в первую группу, а в ней
оказалось семьдесят два еврея, объявили залож-
никами, и всей еврейской общине Збаража был
установлен срок до полудня, чтобы собрать пять
килограммов чая, пять килограммов кофе, сто
пятьдесят килограммов сахара и две сотни кусков
мыла. Чтобы освободить заложников, женщины
и девушки отправились с корзинами по домам. К
полудню общими усилиями требуемое удалось
собрать. Однако заложников не отпустили. Они
так и стояли на площади под надзором эсэсовцев.
Теперь подъехали грузовики, заложники забра-

лись на них и встали там на колени, с опущенной головой. Их увезли после полудня. Больше мы их не видели.

В город пришел крестьянин и переговорил с одним из евреев. Крестьянин рассказал, что вечером того дня, когда увезли заложников, он слышал в лесу у Лубянки выстрелы, а на следующее утро обнаружил там свежую братскую могилу.

По требованию немецкой администрации образован еврейский совет. Однако похоже, что создан он совсем не для того, чтобы помогать евреям советами; его задача скорее — отправлять их под нож. Никто не знает, как это вышло, но старостой совета стал Пинкус Грюнфельд, личность неприятная и с дурной репутацией. Национал-социализм сам находит себе пособников путем негативного естественного отбора. Грюнфельд, его жена и дочь — я сожалею, что мне приходится писать это, — похоже, готовы сыграть самую ужасную роль в трагедии евреев нашего города. Мы все подозреваем, что Грюнфельд и его компания, в надежде спасти свою шкуру, будут продавать нашу общину и вести с нашими мучителями грязную игру. Еврейский совет создал свою еврейскую полицию — для собственной безопасности и чтобы силой подкреплять свои решения. Многие молодые люди вызвались в ней служить.

Еврейский совет наложил на нас тяжелую дань. Я должен заплатить пятьсот золотых, это двести пятьдесят рейхсмарок. За выполнением следят строго. Полиция как неумолимый судебный пристав ходит по домам. Кто не может заплатить деньгами, лишается домашнего имущества, которое сборщики оценивают по своему усмотрению: у бедняг уносят шкафы, кровати, покрывала, белье, посуду.

Поскольку немецкая администрация требует евреев для выполнения самого разного рода работ, еврейский совет учредил биржу труда. Здесь тоже процветает коррупция. Поскольку длительная важная работа представляет собой, судя по всему, единственную защиту от внезапной отправки на грузовике к новой братской могиле, люди боятся за любое назначение, хватаясь, как утопающий, за ту самую знаменитую соломинку. И вот на бирже за большие деньги можно купить так называемые постоянные должности. Кто хочет попасть на дорожные работы — а шоссе быстро не построишь, — должен заплатить три тысячи золотых. Работа на железной дороге, более длительная, стоит еще дороже.

Евреям дали двадцать четыре часа, чтобы сдать все меховые и шерстяные вещи. Выполнение приказа контролируется.

Поутру мы с ужасом читаем новые плакаты, расклеенные за ночь. С сегодняшнего дня каждый еврей должен носить на правой руке белую повязку шириной в десять сантиметров, с голубой звездой Давида. Невыполнение этого распоряжения карается высокими штрафами.

Появившиеся сегодня утром плакаты предписывают нам носить повязку не на правой, а на левой руке.

Вопрос о нарукавной повязке евреев никак не оставляет в покое немецкую администрацию, похоже, что каждые два дня ее мнение по этому вопросу меняется: сегодняшние плакаты гласят, что повязку следует носить все-таки на правой руке.

На улицах проверяют, правильно ли надета повязка. Уже в первые дни не так повязанный отличительный знак карался штрафом в пятьсот золотых. Теперь за тот же проступок грозят смертной казнью. Странный милитаристский садизм и мазохизм немцев приводит к тому, что и те, так сказать, паршивые овцы среди СС, которые обычно менее строго, чем их коллеги, выполняют свои обязанности в преследовании евреев, тщательно контролируют ношение повязки.

Новое распоряжение требует прикрепить на каждой двери и каждом окне еврейских квартир белые плакаты со звездой Давида. В течение дня все его выполнили. Но этого было мало. Теперь военная комендатура потребовала плакаты единого образца. Соответственно, эти плакаты единого образца были отпечатаны, подписаны тремя членами еврейского совета и предоставлены владельцам квартир за сотню золотых. Всем неевреям запрещено входить в помеченные таким способом квартиры.

Согласно одному из множества приказов евреев лишили права распоряжаться собственным имуществом. Было объявлено, что их имущество переходит к государству. Любая продажа имущества наказуема. Несмотря на этот строгий запрет, евреи вынуждены, чтобы вообще как-то существовать, тайком (на рынке им запрещено даже появляться) обменивать у крестьян одежду, часто последнюю рубашку, на продукты. Голод сильнее страха. Крестьяне пользуются бедственным положением евреев, которым все достается дороже, чем другим. Если еврея и крестьянина поймают во время сделки, оба получат чувствительное наказание, но еврею достанется больше. Его отведут в украинскую полицию и зверски изобьют. После этого на клочке бумаги составляют протокол и угрожают послать этот протокол в СД в Тернополь, если

не заплатить большой штраф украинской полиции. Отсылка протокола в СД почти наверняка означает смертный приговор. Так что еврею в любом случае приходится платить выкуп украинской полиции. Украинцы совсем не злодеи, и если денег нет, то они согласны на часы, кольца, ткани, чемодан и вообще на все, что имеет хоть какую-нибудь ценность. Только после того, как жадность украинцев оказывается удовлетворенной, протокол разрывают.

Украинская полиция открыла новый источник доходов. Евреи обязаны содержать в чистоте улицу перед своим жилищем. Мы все стремимся выполнять это распоряжение. Каждое утро до рассвета я уже стою перед нашим домом и мету улицу. Улица была чистой. Через пару часов появился полицейский, бросил на мостовую бумажку, вошел в наш дом и обвинил меня в том, что на улице мусор. Такса в подобном случае составляет от двадцати пяти до пятидесяти золотых. Кто из евреев осмелился бы подать жалобу или не заплатить деньги?

Мои сестры, Зида и Ирма Литтнер, жившие в Будапеште, были высланы из Венгрии и вместе с женихом Ирмы, Виктором Блюром, перевезены в гетто Борщева. Оттуда они прислали мне несколько печальных писем. Мое последнее пись-

мо, адресованное им, вернулось с пометкой «адресат скончался». Это было 22 ноября 1941 года. Я обратился в еврейский совет Збаража с просьбой навести справки, и через некоторое время выяснилось, что мои дорогие сестры стали жертвой погрома, вызванного в Борщеве речью Гебельса 9 ноября.

Сегодня я получил официальное известие об их смерти. «Еврейский совет Борщева, 14 декабря 1941 года, № 307/41. В ответ на ваш запрос от 5.XII сообщаем, что Зида Литтнер, Ирма Литтнер и Виктор Блюм умерли 14.XI.1941 и в тот же день похоронены на местном еврейском кладбище. По поручению еврейского совета...» Подпись неразборчива. Да и кто бы захотел, чтобы его имя стояло под таким документом?

Мы еще спали, было, должно быть, четыре часа ночи, совсем темно, и мы лежали в постелях, когда нашу дверь выбили силой. Я вскочил и тут же был ослеплен светом мощного фонаря. Когда глаза постепенно привыкли к свету, я смог разобрать, что трое мужчин набросились на нас с железными прутьями и начали избивать. Мы кричали и, окровавленные, забились в угол. Я подумал: сейчас нас пристрелят. Пора молиться. Старый профессор Мюллер, живший с нами в комнате, плакал, как маленький ребенок. Он глухой, а теперь ему разбили монокль, и он слепо пытался нащупать в мечущемся луче

фонаря, в охватившем нас вихре насилия спасение, которого ждать было неоткуда. «Да отпустите старика, — успел крикнуть я, — он же глухой!» — но удар по голове заставил меня замолчать — теперь я мог только стонать. После этого на пол было вывалено все содержимое шкафов и чемоданов. Комната выглядела словно после сражения. Были уничтожены еще остававшиеся припасы; соль, муку и два яйца сбросили на пол. После этого незваные визитеры удалились. Мы остались живы. Теперь из других домов доносились крики истязаемых и звон разбитых стекол. На улице галдеж стоял, будто на рынке. Окрестные крестьяне приехали на подводах, как на праздник, и подбирали одежду и утварь, которые им выбрасывали из еврейских жилищ. Грабежи продолжались, пока не стало совсем светло. Операцию проводила карательная рота тернопольского СД.

В Збараже открылось отделение тернопольской биржи труда. Евреев зарегистрировали в этом отделении. Каждую неделю мы должны отмечаться и ставить штампы в наши карточки. Цель регистрации — отправка евреев в трудовые лагеря. О том, каково жить и умирать в этих лагерях, рассказали нам тайком вынесенные письма первых жертв. При каждом лагере есть большое кладбище.

Сегодня моя жизнь была под угрозой! Секретарь биржи труда, украинец, хотел отправить меня в исправительный лагерь. Однако начальник, некий Васюта, человек строгий, но справедливый, спас меня от верной смерти. Он дал мне — и я ничего за это не платил — одну из немногих и столь желанных должностей в Збараже. О Васюте рассказывают, что он из чистого человеколюбия дал нескольким евреям, которых отправили на работы в Германию, арийские документы. Праведниками земля держится.

Я заступил на свою новую должность. Я надзираю за уборкой в городе и отвечаю за чистоту улиц. Предоставленные в мое распоряжение рабочие — беспомощные старики. Я велю им сидеть дома и сам выполняю необходимую работу. Уже в четыре утра я на ногах. Мету улицы. Сам себе надзиратель и сам себе работник. Я доволен. Мне ничего не платят, зато, по крайней мере, пока мне разрешили пожить.

С тех пор как мы рас прощались в Кракове с моим сыном Золтаном, я не получал от него известий. Беспокоясь о нем, я использовал каждую возможность, чтобы разузнать что-нибудь. Но лишь совсем недавно я узнал, что Золтан со своей молодой женой вроде бы находится в Варша-

ве. Я запросил еврейский совет Варшавы, чтобы они прислали мне его адрес.

Я счастлив, что снова нашел Золтана, но его первое письмо повергло меня в уныние. Он описывает жизнь евреев в варшавском гетто. На улицах лежат мертвые, умершие от голода и убитые — прикрыты газетой. Знать, что сын находится там, — ужасно для отца. Пытаюсь ему помочь, а ведь я и сам в беде.

Сегодня я получил от него два письма разом, и скорби моей прибавилось. Вот эти письма: «Варшава, 7.5.42. Дорогой отец! Получил твое письмо, а также деньги, за что сердечное тебе спасибо. Ты и не представляешь себе, отец, в каком положении мы были, когда получили твое письмо. В тот момент уже три дня как у нас во рту не было — буквально — ни куска, мы уже чувствовали приближение голодной смерти. Дорогой отец, мне тяжело обо всем этом писать, но у меня нет другого выхода. Я ведь считал дни, пока придет от тебя ответ. Еще раз прошу: спаси, забери нас отсюда. Мы почти совсем иссохли, потому что уже почти как год не пробовали жира. Поверь, когда я прохожу мимо магазина, меня так и тянет разбить витрину, чтобы схватить хлеб. Если бы ты меня видел, я мог бы не описывать тебе все подробности. Подняться по лестнице у меня нету сил. Хуже всего, что нам негде жить. Мы пристраиваемся то тут, то там, и в довершение к нашему голоду нет у нас и пристанища». «Варшава, 10.5.42. Дорогой

отец! Пишу вдогонку еще одно письмо. Может быть, ты все же сможешь забрать нас к себе. Мы с женой готовы делать самую трудную работу. Здесь, в варшавском гетто, пятьсот тысяч евреев, и теперь доставили еще несколько тысяч из Германии и Чехословакии. Ежедневно хоронят по четыреста-четыреста пятьдесят человек. Мертвцы лежат по три-четыре недели на кладбище. Дорогой отец, прошу тебя еще раз из последних сил: спаси нас! Спаси, сделай что можешь — я этого всю жизнь не забуду и буду тебе благодарен».

В программе национал-социализма, говорят, много красивых слов об уважении к семье, об укреплении семейных уз. У нас, евреев, семейные отношения всегда были тесными. Что сказал бы немецкий отец, если бы получил от своего сына такое письмо, как я от своего, письмо, которое я здесь привожу?

Судьба моего сына терзает меня сильнее, чем моя собственная. Я бросаюсь от одного знакомого к другому, но никто не может ни помочь, ни посоветовать. Выезжать из Збаража мне запрещено, да и в варшавское гетто просто так не попасть. В бессилии, в заточении я вынужден издалека наблюдать, как гибнет мой сын. Еда, и без того скучная, застревает у меня в горле, когда думаю о голодающем Золтане, и, даже проработав весь день, я не могу заснуть на своей жесткой постели. Он стоит у меня перед глазами, каким я видел его в последний раз: молодой солдат, гото-

вый сражаться и умереть. А теперь он угасает во цвете лет, бесславно, в нищете. Я не стыжусь своих слез.

От моей невестки пришло письмо: «Варшава, 13.8.42. Дорогой отец! У Золтана, к сожалению, нет сил, чтобы писать самому. Он слишком слаб и пережил ужасные дни, страдая от бесконечно-го поноса. К тому же все суставы у него распухли. Люди удивляются, что он пережил кризис. Все это от голода. Я сама страдаю той же болезнью, но не так сильно, как бедный Золтан. Когда я посыпала телеграмму, температура у него была 41,8. До этого он пролежал четыре недели на лестнице, потому что из-за болезни никто не хотел впускать его к себе в дом. Если бы хоть я была здорова, но я слишком слаба, чтобы писать дальше».

На следующий день, после того как я получил это письмо, евреям было запрещено пользоваться почтой.

Больше я о моем сыне ничего не слышал. Он погиб в аду варшавского гетто.

Мы в Збараже практически отрезаны от осталь-ного мира. Но до нас доходят слухи из других мест. Говорят, во Львове был ужасный погром. Спецкоманды СС с особой жестокостью расправ-лялись с евреями. Уже вошло в обычай требовать

от еврейских советов различных городов определенное количество людей на убой, как в военное время скотину. В нескольких местах еврейские советы оказались не в силах предоставить жертвы. Тогда совету приходилось самому идти на расстрел. В других местах советы, наоборот, с готовностью служат мясникам и гонят несчастных, чтобы спасти свою жизнь, которая, как известно, каждому дороже всего.

Преследования с каждым днем ужесточаются. Уже один вид еврея провоцирует СС. Многие из нас больше не отваживаются выходить на улицу.

Брат живущего у нас профессора Гальперна — заместитель старосты еврейского совета. Сегодня ночью нас подняли двое из еврейской полиции. Они потребовали, чтобы профессор пошел с ними в совет; у его брата, сообщили они, очень много канцелярской работы, и ему нужна помощь. Дело, однако, в том, что это известие было условным знаком тревоги, и мы все оделись. Мы с беспокойством ждали возвращения Гальперна. Когда два часа спустя раздался стук в нашу дверь, мы были уже так деморализованы страхом и напряженным ожиданием, что бросились в панике во двор и спрятались там. Дрожа от страха, мы стояли в полной темноте. Неожиданно нас осветил луч карманного фонарика.

Один из еврейских полицейских спросил, почему мы убежали, и привел нас обратно в дом. Если мы попытаемся бежать, сказал он, то подвергнем себя серьезной опасности. Постучавший в нашу дверь оказался посланцем профессора Гальперна. Он сообщил, что началась «акция». Хотя мы уже несколько недель ожидали ужасных событий, это известие словно оглушило нас. Со страхом всматривались мы через окно в темноту. Мы видели вооруженных людей в форме, ходивших по улице взад и вперед. То там, то тут вспыхивал фонарь «летучая мышь», и эсэсовцы в блестящих плащах напоминали в его свете привидения. Но они были кошмарнее любых привидений, о которых писали в книгах. Они были великанами-людоедами, пришедшими за своей данью — человечиной. Они были адскими вестниками западной цивилизации двадцатого века.

В нашем доме жил Якоб Эклъ, а еще жили супруги Корнберг. После полуночи дверь дома распахнулась, и тяжелые, кованые сапоги загремели в коридоре. Наконец выкрикнули имя: «Якоб Эклъ!» После этого вызвали Корнбергов. Мы знаем теперь, как будет звучать голос, зовущий на Страшный суд. Бледные, с бьющимся сердцем ожидали мы следующего выкрика. Каждый спрашивал про себя: прозвучит ли и мое имя, пробьет ли и мой час? Однако на этот раз в нашем доме все ограничилось тремя людьми. Несчастных, людей в возрасте, увили. Они ушли молча и без

жалоб. В других домах разыгрывались душераздирающие сцены, когда члены семьи прощались друг с другом. Старый Кац сказал жене, когда им было приказано присоединиться к каравану смерти: «Идем, женушка, нас ждет свадебное путешествие». По всей улице стояли плач и стон.

В половине восьмого вернулся Гальперн. Он был совершенно подавлен и разразился истерическими рыданиями, рассказывая о том, как пережил эти ужасные часы в еврейском совете. Командование СС потребовало обеспечить отправку пятисот тридцати человек. Число было высчитано пропорционально числу жителей и его надлежало неукоснительно соблюдать. СС требовало быстрого и точного выполнения приказа! Если одну из предназначенных для отправки жертв не удавалось застать дома, следовало заменить ее кем-то другим. Грюнфельд отпечатал в еврейском совете список на машинке. Жертв забирали эсэсовцы, которым помогала еврейская полиция. До утра пленников продержали в общественных банях. Затем их загнали на грузовики. Троє стариков были слишком слабы, чтобы забраться в высокий кузов, — их застрелили тут же, у машин. Грузовики под усиленной охраной выехали в направлении Тернополя.

Молодой Экль, сын Яакова Экля, работавший на железной дороге близ Тернополя и ничего не знавший о судьбе отца, с ужасом уви-

дел его на одной из машин в колонне. Но ему нельзя было подойти поближе, тем более — переговорить. Молча посмотрели они друг на друга на прощание, и оба знали, что прощаются навсегда.

Теперь нам известно, что в Бельжеце находится большой лагерь, в котором уничтожают евреев. Внешне он напоминает фабрику и работает, используя самые современные технологии. Угнанные из нашего округа прибыли туда. Они — сырье для этого предприятия, которое ведет промышленную переработку одежды и тел несчастных, а бесполезный остаток — душу, бедную душу — вместе с дымом отправляет на небо.

Вслед за «акцией» на нас наложили еще одну повинность. Потребовали золото и деньги. Для сбора ценностей еврейский совет составил комитет. Никто не интересовался, осталось ли у нас что-нибудь еще. Сумму взноса устанавливали произвольно, и снова к нам пришла беда.

Один знающий человек рассказал мне, что членов еврейского совета не принуждают сдавать свои ценности. Но им от этого не легче. Стараясь забыться, они гудят всю ночь напролет. Играют по-крупному. Не входящие в элиту еврейского

совета полицейские тоже получают угощение как на празднике, потому что подручных палачей нужно как следует кормить и время от времени подогревать алкоголем.

Многие города и поселки в Тернопольском округе превращаются теперь в «очищенные от евреев». Местные власти устроили своего рода соревнование, кто скорее изгонит евреев. И вот бездомные люди стекаются в Збараж, где к их присутствию пока еще относятся терпимо. Началось печальное переселение народов. Затравленные, запуганные, измученные люди ташат жалкие остатки своего скарба; они сидят на придорожных камнях, пока не пристроятся где-нибудь. Работоспособных мужчин собирают во дворе еврейского совета, чтобы отправить в трудовые лагеря.

Уже несколько дней назад до нас дошел слух, что в Тернополе прошла большая «акция». Янина была особенно обеспокоена и глубоко опечалена. Ее сын Митек находится в Тернополе в одном из трудовых лагерей. Наконец сегодня с посыльным пришло письмо от Митека. Он рассказывает о событиях в Тернополе, я переписал из его письма: «Здесь на станции я увидел транспорт с людьми из Збаража. Очень боялся, что увижу и вас среди них. Как же я был счастлив, когда вас там не оказалось. На радостях я подарил всю свою коллекцию русских марок, кото-

рая, как ты знаешь, кое-чего стоит, Грюнфельду, сказав, что еврейский совет может распоряжаться ею по своему усмотрению. То, что здесь происходит, ужасно. Мне казалось, что вернулись времена персидских сатрапов. Две трети населения Тернополя исчезли: пять тысяч восемьсот человек из девяти тысяч. Волосы вставали у меня дыбом. Обычно мы ночевали в городе на квартирах, но в воскресенье было приказано не покидать лагерь. В понедельник в пять утра стало известно, что «акция» началась. Я всю ночь не спал, меня терзали сотни блох, да еще и вши. Такая ночь не забывается. Падая с ног от усталости, мы должны были на следующий день работать на молотилке. Я не пожелал бы никому быть даже свидетелем тех сцен, которые мне довелось увидеть в тот кровавый понедельник. Ужасные крики, там и тут группы людей под конвоем европейской полиции. Дети, женщины, старики — всех на убой. Время от времени можно было видеть беглецов, которых преследовали полиция и СС, в них стреляли на бегу. Это была настоящая облава. Еврейские коменданты Волькенберг и Финк построили нас в колонну и вывели из лагеря, мы были бледные, нас била дрожь, на наши лица не было. Потом нас направили на площадь, посреди которой стояли люди, ожидающие перевозки в Бельжецкий лагерь, в газовые камеры. Сначала нас присоединили к ним, но потом, по счастью, отпустили на рабочие места. Как я был счастлив, что у меня был с собой хлеб, ис-

печеный тобой, потому что я не хотел возвращаться в Тернополь до окончания «акции». День прошел, и работа закончена. Мы отправляемся на вокзал, где нас ожидают другие лагерные рабочие. Мы не знаем, как нам теперь быть. Вернуться ли на ночевку в лагерь? У гетто стояла толпа людей, они советовали нам не возвращаться в лагерь. Тогда мы решили вернуться на работу и переночевать там. К счастью — или к несчастью, уж и не знаю, — тамошний надзиратель пришел с проверкой и выставил нас из нашего убежища. Было уже темно, мы потихоньку пробирались обратно в гетто. Ворота были открыты, никто их не охранял. Внутри все выглядело так, будто там прошли бои. Дома пустые, окна разбиты, мертвые лежали на улицах, стояла гробовая тишина. Вдруг мы узнали, что для завершения «акции» требуется еще двенадцать человек. Мы были в панике, когда нас обнаружила полиция. Мы сказали им: «Мы лагерные, из Збараж», и нас отпустили. Настоящее чудо. Одни в опустевшем лагере, состояние было жуткое. Через час пришла еще одна группа, они работали в другом месте. Третья группа не вернулась совсем, они ночевали где-то в лесу. «Акция» явно закончилась. Двери в домах нараспашку. Странно, но никто ничего не крадет. Семья Кёрнер из Кракова уцелела. Мой хозяйке и ее ребенку тоже повезло, их не заметили. Но ее взрослую дочь схватили. Мою бывшую коллегу из Кракова схватили тоже. Она услышала, что уводят ее мать, убежа-

ла с работы, чтобы спасти ее, и тут же сама оказалась под конвоем».

Как ни преследовали евреев, как ни разоряли европейскую собственность, кладбища до сих пор оставались нетронутыми. Разумеется, они этого так не могли оставить. Мало было мучить живых, мертвые тоже должны подвергнуться поруганию, по принципу справедливости, присущему ненависти. Сегодня ученики украинской гимназии, девочки и мальчики, строем с песнями промаршировали к еврейскому кладбищу. Они прошли по нашей улице. Мы видели их из окна. На плечах у них были лопаты и мотыги, и шли они весело, как на прогулку в лес. А на кладбище состоялся детский праздник, каких еще не видывали: старые надгробия опрокидывали, цветники разоряли, надгробные холмики ровняли с землей. После этого привели евреев, чтобы они тут же разбивали опрокинутые надгробия на части. Осколки на тележках увозили для дорожных работ.

Сегодня вызвали евреек, чтобы мостить улицы битыми надгробиями. На каменных осколках еще можно прочесть старые еврейские надписи. Госпожа К. вколачивала в дорогу имя своего отца. Солдатские сапоги будут его топтать. Собаки будут по нему бегать. Гусеницы танков сотрут надпись.

От дома к дому бежит шепоток — СС затребовало из Збаража в жертву двести пятьдесят человек. Когда мы узнали об этом, началось жуткое ожидание. Грюнфельд между тем составлял в еврейском совете свой список. Когда список стал известен, в нем оказались все бедолаги общины, те, кто был совету только в обузу, у кого уже совсем ничего не осталось, чтобы его подкупать. Кому из вызванных не удавалось спрятаться, кто по счастливой случайности не был среди не оказавшихся на месте, должен был идти и принять смерть. Пощады не было никому. Двести пятьдесят евреев силой притащили в бани и заперли там. Они знали, что им предстоит.

К вечеру жертв пересчитали, и оказалось, что нескольких человек не хватает. Недостающую дичь нужно было добыть. Улицы были пусты. Если кого и можно было увидеть, так это членов еврейского совета, украинскую полицию и еврейских полицейских. Неожиданно мы услышали душераздирающие причитания и снова осторожно выглянули в окно. По улице уводили семью. Мужчина нес на руках ребенка лет трех и ласково гладил его. Женщина рыдала и цеплялась за мужчину. Душу мою терзало то, что я видел это страдание и ничего не мог сделать. Та же судьба могла настигнуть каждую секунду и меня.

В нашем доме осталось еще двадцать три еврея, и каждый день мы с дрожью ожидаем новых «ак-

ций», ведь они могут случиться в любое время. Каждый мучительно ищет выхода. Сколько разговоров идет — и все без результата! Мы звери в западне, из которой нам не выбраться. Иногда мне кажется, что лучше всего было бы лечь и умереть, а то вдруг мной овладевает уверенность, которую, учитывая то положение, в котором я нахожусь, иначе как безумием не назовешь, уверенность, что Бог спасет меня. Наконец мы все вместе решили построить тайник. В коридоре выбрали темную каморку. Дверь в нее замуровали и заставили. Никому бы не пришло в голову, что там есть помещение. Из нашей квартиры, проломив с трудом стену, сделали узкий лаз, ведущий в каморку. Мы ловко замаскировали пролом. После первой «акции» устроили ночное дежурство. Дежурить было утомительно, однако страх заставлял нас строго соблюдать график. Часто бывали ложные тревоги. Дежурный замечал что-нибудь подозрительное, и мы забирались в наш тайник. Было мучительно часами просиживать в тесной, темной и холодной каморке. Среди нас были и дети, своим кашлем или плачем они могли обречь всех нас на смерть.

Молодого Экля освободили от повинности на строительстве железной дороги и зачислили в еврейскую полицию. Иногда он дежурит по ночам и узнает раньше нас о грозящей беде. Жена Экля, ее родители и маленькая Ноэми тоже сидят в на-

шем тайнике. Поэтому Экль вдвойне заинтересован в том, чтобы успеть предупредить нас. Теперь нам чуть-чуть спокойнее. Тайник ужасно тесен. Многие засыпают от истощения и нехватки кислорода, и их приходится будить, чтобы не хранили. Ведь храп может нас выдать в момент опасности.

Экль сегодня идет в полицию только после полуночи. Была моя очередь заступать на дежурство по дому. Напротив нас — участок украинской полиции, и я насторожился, когда совсем уже ночью туда подъехала машина. «Где еврейский совет?» — спросил кто-то по-немецки. Я осторожно выглянул и увидел, что на машине сидят эсэсовцы в блестящих длинных плащах. Страх сдавил мне горло. Теперь будет не до шуток, подумал я и тут же разбудил Экля и всех остальных. Мы спрятались как можно скорее, а Экль, ловко задевав лаз в убежище, поспешил в еврейский совет.

До того как спрятаться, мы устроили в комнатах беспорядок, а Экль оставил все двери нараспашку. Все это должно было производить впечатление, будто в нашем доме «акция» уже прошла. Через некоторое время Экль вернулся из еврейского совета и крикнул нам сквозь стену, чтобы мы сидели тихо. Идет облава. Не описать словами, каково нам было в нашей норе. Как раз в этот день я чувствовал себя паршиво. Дышать в

тайнике было нечем. Как медленно тянется в таких случаях время! И тут мы услышали грохочущий шум. Он становился ближе и ближе. И вот он уже в нашем доме. Главное — спокойствие! Мы затаили дыхание. Если бы только сердце не стучало так сильно! В эти минуты решался вопрос нашей жизни и смерти. Нам показалось, что они пробыли у нас довольно долго. Наконец поиски прекратились. Мы перевели дух. Охотники на людей ушли. Постепенно оцепенение спадало, но нужно было и дальше не забывать об осторожности. Недостаток кислорода в маленьком помещении становился все более чувствительным. У всех были совершенно красные лица и тяжелое дыхание.

Экль, которого мы так напряженно ждали, вернулся лишь к полудню следующего дня. Как мы были счастливы, что можно выйти из нашего жалкого укрытия, которое, правда, все же уберегло нас от смерти. Экль рассказал, почему он не освободил нас раньше: дело в том, что ранним утром «акция» возобновилась с не меньшей жестокостью. Каждого, кто попадался, хватали и уводили. Мужчин, женщин, детей и стариков. Не пощадили ни одного еврейского дома. Весь день мы бродили как оглушенные. То и дело узнавали о знакомых, которых настигла кошмарная смерть. Ужасен был вид города после этой

«акции». Он словно вымер. Тысяча человек была отправлена из Збаража в лагерь смерти.

Одной из жительниц Збаража, зубному врачу, чудом удалось бежать во время отправки в лагерь смерти. Я записал ее рассказ. «В шесть утра патруль задержал меня у самого дома. Я была в тапочках. Один из солдат заметил: «Да она не обута!» На что другой ответил: «Ей обувь и не понадобится». Схваченных в моем квартале собирали на площади. Почему-то заставили ждать, стоя на коленях. После болезненного и полного страха ожидания разбили на группы и отвели в бани. Они уже были переполнены арестованными. Нас силой заталкивали внутрь, избивая резиновыми дубинками. Стоял жуткий, пронзительный крик. Каких-то детей просто задавили, а другим приходилось стоять на их тела. Так продолжалось два часа. Потом нас повели пешком на станцию, за два километра. На платформе заставили сесть, вытянув ноги. Голову нужно было опустить вниз; это предписание странным образом удовлетворяло солдафонский садизм наших мучителей, так любивших порядок. Здесь нас тоже избивали. Целое полчище людей в униформе стерегло толпу несчастных. Вначале можно было поднять руку и попроситься выйти. Потом пришел какой-то эсэсовский чин и закричал: «Что, в сортир?! Пусть гадят в штаны, как у себя дома!» В таком вот положении, более чем скотском, мы

оставались до вечера. После этого стадо несчастных рассортировали. Мужчин от шестнадцати до сорока отправили на отдельных поездах в рабочие лагеря, в основном во Львов. Всех прочих офицер СС, просто опустив большой палец вниз, приговорил к смерти. Путь лежал в лагеря смерти; их затолкали в товарные вагоны и отправили в открытые топки польских крематориев. Вагоны запломбировали. Вокзальная площадь была ярко освещена большими прожекторами, часовые с карабинами на плече обходили поезд. Единственное маленькое вентиляционное отверстие было задраено снаружи. Около девяти часов поезд тронулся. Сердце так и выскакивало у меня из груди. Я кричала вместе со всеми, вместе с моим отцом, попавшимся, как и я. Мы ничего не знали о моей матери. Если бы она была с нами, мы бы спокойно пошли на смерть. Теперь же я думала о побеге. Бояться за свою жизнь нам было нечего, потому что мы знали, что и так уже ее потеряли. У одного из нас нашелся довольно большой нож. Я начала резать ножом доски, которыми было забито окно, пока не удалось проделать отверстие, через которое с трудом мог прятиснуться человек. Мы с отцом решились на это. Поднимаясь в гору, поезд замедлил ход, я подтянулась и спрыгнула вниз. Отец последовал за мной. Мы поранились при падении, но не чувствовали боли. Пешком побежали в Збараж. Мне пришлось идти всю дорогу в тапочках, и я разбила ноги в кровь. Из поезда бежали и другие. Некоторые,

выбираясь, попали под колеса, но эта смерть была не страшнее, чем смерть от немецких или украинских убийц».

Из Тернополя от Митеха пришло печальное известие. Он заболел тифом и просит прислать ему яд. Янина добилась разрешения на поездку к нему в Тернополь. Вернулась она в отчаянии. Детей уничтожают на глазах их родителей.

Создается гетто. Нам приказано перебираться на окраину, к конному рынку. Сюда свозят нечистоты со всего города. С нами тоже обходятся, как с нечистотами. Мы и есть эти нечистоты. Летом здесь, в зловонных испарениях, роятся мухи и комары, превращая это место в ад.

На переселение в гетто дано двадцать четыре часа. Сюда же привезли евреев из Подволочиска. Нескольких домов было явно мало, чтобы вместить всех прибывших. В одной комнате устраиваются человек по двадцать и больше. Многим приходится продавать или обменивать мебель. Удивительно, как корыстолюбивые крестьяне этих мест чуют, когда есть чем поживиться. Уже ранним утром они толпами появились в еврейских кварталах, чтобы не упустить удачный момент. Гетто представляло собой жалкое зрелище.

Скопившиеся нечистоты, вещи, с которыми переезжали евреи, и крестьянские подводы представляли красноречивую и удручающую картину. Перед домами побитая мебель, а кругом солома и навоз. Я и здесь отвечал за чистоту улиц и трудился со своей метлой, как Геркулес в Августовых конюшнях, но все без толку. Это было безнадежное занятие. Никогда прежде не видел столько грязи. Крестьяне брали мебель, которую не удавалось втиснуть в домишкы. «Вы еще должны радоваться, — кричали они, — что мы вам вообще что-то даем за эту рухлядь. Вас все равно скоро расстреляют». Горькие слезы лились по измощенным, иссущенным тревогой щекам женщин, которым все это приходилось выслушивать.

Митек бежал из Тернополя и неожиданно объявился у нас, еще не оправившись от своего тифа. Мы живем вчетвером в крошечной комнатке. Комнатка находится в старой, ветхой лачуге, и состояние ее — хуже некуда. Потолок провисает. Дверь не заслуживает этого названия, это кое-как сколоченные доски, пропускающие и ветер, и дождь. Это нельзя назвать человеческим жилищем, и в Баварии крестьянина, который стал бы держать в таком сарае скотину, обругали бы, и поделом. Да на что же я жалуюсь? Мы живы, у нас есть крыша над головой, пусть даже и провисшая. Тяготит сознание того, что скоро нач-

нется новая «акция». Если собрали такое множество людей на одном пятаке, то не приходится сомневаться, что сделано это, чтобы было легче их всех схватить.

Настроение в гетто дошло до предела. На всех лицах — безысходность. Одни уже совершенно отчаялись и хотят только одного — чтобы все закончилось. Другие, в ком еще сохранилась хоть какая-то воля к жизни, постоянно терзаются страхом. И все двигаются пугливо и неуверенно, в постоянном ожидании неизбежного ужасного конца.

Еврейская полиция усиlena с восьмидесяти до ста тридцати человек. Значит, вот-вот начнется «акция». Грюнфельд прекрасно знает, что готовится. Евреи боятся его так же, как и эсэсовских палачей. Он твердо уверен, что, предавая своих соплеменников, спасает себя и свою семью. Служащие в полиции тоже уверены, что их должность сохраняет им жизнь. Молодые люди платят большие деньги, до десяти тысяч золотых, чтобы их приняли в полицию. Я как-то читал, как на тонущем корабле люди дрались за место в шлюпке. В гетто тонем мы все. Жизнь жестока, и человек тоже ожесточается. Сколько над нами сторожей! Еврейская полиция, украинская полиция, обычные войска СС, спецкоманды СС, жандармерия СС, патрульные команды СД — все они приглядывают за нашим убогим гетто.

Продукты питания строго контролируются. Если в гетто ловят крестьянку с молоком, то молоко, за которое она надеялась выменять у нас что-нибудь, тут же выливают на землю. Я своей метлой выметал множество таких молочных луж. Признаюсь, у меня было искушение вылизать их. Немцы и украинцы проверяют, кроме того, запасы продовольствия в домах. Горе тому, у кого найдут слишком большие запасы. Эти проверки — излюбленная возможность заниматься разного рода вымогательством.

В еврейском совете сегодня играли свадьбу. Один из еврейских полицейских женился на дочке Грюнфельда. Говорят, это было как в сказочной стране, с молочными реками и кисельными берегами. Для нас же, простых евреев, это празднество будет, наверное, означать дополнительные поборы.

Тернопольское СД затребовало еврейские удостоверения для проверки. С этого дня действительны только удостоверения, проштампованные СД. У кого нет удостоверения, тот вне закона.

Грюнфельд уехал в Тернополь, чтобы проштамповать наши удостоверения. Мы снова живем в ужасной неопределенности. Мы боимся, что

Грюнфельд воспользуется этой процедурой, чтобы снова играть с нами в жестокие игры. От какой-то дурацкой печати зависит жизнь человека. Грюнфельд это знает. Кто получит от него проштампованные удостоверение?

Грюнфельд вернулся. Он утверждает, что в Тернополе печати поставили только на часть удостоверений. Печать стоит сумасшедших денег. Мне пришлось заплатить Грюнфельду тысячу золотых за свое удостоверение. Сколько дней жизни получил я за этот выкуп? Но мы словно завороженные ожидаем от печати спасения, а если ее не будет — смерти в лагере.

Жуткая торговля печатями продолжается. Многие из тех, кто работает на кирпичном заводе, на прокладке шоссе и на железной дороге, до сих пор не получили печати и впали в отчаяние. За печать требуют и предлагают солидные суммы. Грюнфельд опять поехал в Тернополь. Идет дикая, грязная торговля жизнью. Человек ничто, печать — все!

В Весневичах все еврейские жители пали жертвой погрома. Одному врачу с женой и ребенком удалось бежать в Збараж. Бреннигер, давным-давно крещенный еврей, приютил беглецов на

одну ночь. Может быть, его обязывала к тому его новая вера, ведь она утверждает любовь к ближнему. На него донес сосед, и его вместе с постоянльцами отправили в Тернополь и там расстреляли.

Страх перед новой «акцией» растет день ото дня. Мы уже не отваживаемся раздеваться на ночь. В каждом доме не спит дежурный, наблюдает за происходящим на улице. Повсюду роют подполья, чтобы прятаться. Люди, преследуемые и постоянно видящие смерть, зарываются в землю, словно кроты. Наше подземное укрытие далось нам тяжело. Наша ветхая лачуга стоит на пригорке, и подвала у нее нет. Мы выбили в полу квадратное отверстие, ровно такого размера, чтобы в него мог пролезть человек. К пролому подобрали доски, так хорошо закрывающие его, что никто бы не догадался, что за этой крышкой находится лаз в укрытие.

Потом мы начали рыть. С примитивными инструментами и ведрами мы принялись за дело. С трудом приходилось выковыривать из-под пола почву и вязкую глину. Страх подгонял нас. Каждый час, каждая минута были на счету. Мы лихорадочно работали ночи напролет при тусклом свете свечи. Пришлось попотеть. Особую заботу доставляла нам вырытая земля. Мы тайком выносили ее на улицу и прикрывали снегом. Приходилось действовать очень осторожно, потому что

сторожившая гетто полиция освещала тьму фонарями, и, если бы нас поймали, нам бы несдобровать. Наконец подполье уже могло вместить четырех человек. Чтобы было где сидеть, мы сделали глиняную скамью и накрыли ее досками. Вся обстановка подполья состоит из ведра для отправления нужды, свечи и термоса с питьевой водой.

Мы, евреи, со страхом ожидали девятое ноября. Эта ночь пришла. Мы не ложились спать и были готовы ко всему. В полночь в окно постучал Экль. Он прошептал, что «акция» началась. Словно испуганные мыши юркнули мы в подземное убежище. Больной Митец плакал и отказывался подниматься с постели. Недолго думая, я связал ему ноги, потом мы опустили строптивца вниз, в темную яму, и уложили на доску. Это было словно погребение мертвого. Состояние Митеца было достойным сострадания: у него была температура сорок градусов.

Что мы чувствовали внизу, в темном подполе, не поддается описанию. Четыре человека с замирающим сердцем ждали, пока наверху смерть пройдет мимо. Пещера была слишком тесной, мы дышали с трудом. Митец стонал и просился на воздух. Вдруг мы услышали наверху голоса и шаги. Вот они и пришли! Мы совершенно затаили дыхание. Даже Митец, в жару, почувствовал опасность и перестал стонать. Снова минуты ре-

шали вопрос о жизни и смерти. Мы услышали крики: «Евреи, вылезайте!» Пол простукивали прикладами, чтобы найти тайник. Долго — нам казалось, что это длится вечно, — за нами охотилась смерть. Стук прикладов был как движения ее костлявых рук. Комья земли сыпались на нас, каждое мгновение могло стать для нас последним. Наконец стало тихо. Похоже, нам снова подарили жизнь. Мы осторожно приподняли крышку тайника. Но лишь утром мы осмелились покинуть подпол. Вид у нас был ужасный: белье, верхняя одежда и обувь — все было забито глиной, все было мокрым, потому что из-за тесноты мы не могли воспользоваться ведром. Мы были как тени, явившиеся из преисподней, но еще не освободившиеся от телесных тягот.

В нашей лачуге царит беда! Но мы все выжили. Еще большее отчаяние на улицах, где родители ищут детей, дети — родителей, супруги — друг друга. Ужас охватывает, когда видишь, как они блуждают, рыдая. Многие кричат, кто-то раздирает на себе одежду; кое-кто бродит в молчаливом отчаянии, со взглядом, направленным уже в иной мир. И среди этого снует всякая мразь и ищет, чем можно поживиться. Там мальчишка нес, обхватив, самовар, тут подросток волок что-то из домашней обстановки. Воры лезли в окна среди бела дня. Дома опустели, а их жители отправились в путь без возврата.

Позднее крестьяне назвали нам ужасное число: тысячу пятьдесят жертв собрала эта ночь. Постепенно покинутые жилища были закрыты и опечатаны. Этим занималась еврейская полиция. Но перед этим еще раз прошел грабеж, на этот раз официальный. Из Тернополя приехала группа СД под командой некоего Бишофа, человека, о котором рассказывали особенно много ужасного. Он приехал со своей любовницей по имени Ядвиги Партика, из польских немцев. Еврейское добро свозили на подводах к зданию кооператива. Тем временем Бишоф с револьвером и хлыстом сам рыскал по домам; его сопровождали двое полицейских. Одним из них был Грюнберг, зять заместителя старосты. Он нес литровую бутыль водки, к которой Бишоф то и дело прикладывался. Когда Бишоф дошел до нашего жилища, он приказал остальным ждать его на улице. На вопрос, почему это мы не «выселены», я ответил: «Я работаю». Бишоф потребовал мое удостоверение и внимательно изучил его. Приказал мне вывернуть карманы. Все это время выродок махал хлыстом у моего лица, то и дело угрожая ударить. После этого он отобрал у меня бумажник, серебряные часы, авторучку, почтовые марки и маленькое золотое кольцо, память о моей матери.

Тяжелая русская зима накрыла наше убогое гетто снежным покрывалом; широкий белый саван, сотканный природой, лежит на ее полумертвых

детях и тех, кто уже в земле, лежит холодно и равнодушно, но в нем все же нет той жестокости, какая есть в людях. Мое дело — по-прежнему мести улицы, расчищая их для патрулей, для наших мучителей. От голода и холода я в конце концов слег и борюсь в нашей лачуге с тяжелым воспалением легких. Я много размышляю, и больше, чем страх перед грядущим, меня заботит вопрос о вине, вопрос о моей вине и вине других. Я ищу истоки вины. Почему нам досталась такая ужасная судьба? То и дело мысль моя обращается к Богу. Я порываюсь восстать против Его власти. И все же я доверяюсь Ему. Странно, если принять во внимание мое бедственное положение, но я верю, что Он меня спасет.

Я все еще лежу больной в этой лачуге, в этой норе, в нашем последнем пристанище. Настырно и бесстыдно снуют мыши по постели больного, у них нет никакого питетата перед гонимым и униженным, перед той развалиной, которая когда-то была человеком. Сначала я хотел было прогнать маленьких серых зверьков, потом они начали забавлять меня. Постепенно я научился различать их, я придумал им имена и встречал их как гостей. Из-за того что меня так часто хотели лишить жизни, я научился уважать жизнь — даже низших созданий.

Мои проворные, игривые, юркие мышки шепчутся, а в гетто тоже шепчутся — от страха. Облавы, за которыми следуют отправки в лагеря, приходят как частые грозы, и охота на людей любует, с криками загонщиков, в ночи. Людей ловят, вытаскивают из постелей, хватают на улицах и держат в еврейской полиции, пока не наберется «партия», партия для лагеря и смерти. Старики теперь просто сразу расстреливают. Смерть здесь не ходит с косой, как на старых гравюрах. У нее в руках автомат. Сегодня ночью мы снова слышали очереди, которыми она косит людей. А поутру у еврейского совета увидели трупы, в том числе и труп женщины, которая пришла просить об освобождении мужа.

Больного приходят проводить. Приходящие никогда не смеются. Сегодня был Шмаюк; его родители, его сестра, его жена были убиты. Вчера у моей постели сидел Иго Грюнберг. Он один из очень немногих, кого отпустили из исправительного лагеря. Дома его еще ждали жена и ребенок. Но его родители, все братья и сестры и зять были уже мертвые. Больной продолжает искать смысл происходящего. Ночи его проходят без сна.

В еврейском совете служащим в полиции раздавали водку. Это известие словно лесной пожар бежало по гетто. Мы все знаем, что это означа-

ет — большую охоту на людей. Хотя я был все еще в плохом состоянии, пришлось спускаться в подпол. Совершенно обессиленный, я корчился в темной, сырой норе.

К несчастью, когда был дан сигнал к облаве, в нашей лачуге были два чужих человека. В суматохе они попытались втиснуться в наше убежище, но места для них уже не было. Только по нашей настоятельной просьбе оба чужака, знаяшие теперь о нашем тайнике, выбрались наверх и стали искать другие укрытия. Какое-то время в нашем убежище было тихо. Потом мы услышали, что в лачугу зашли. По голосам мы узнали людей из еврейской полиции. Они довольно долго были в доме, но в конце концов ушли. Мы уже думали, что самое худшее позади. Но мы обманулись.

Около пяти утра пришли другие люди из полиции и без долгих поисков направились прямо к нашему укрытию, сняли маскировку лаза и постучали в крышку. Нас выдали! Нам пришлось открыть люк, и мы дрожа выбрались наверх. Только я остался внизу, я чувствовал себя так, словно уже умер. Молодчики забрали Митека с собой. Меня с проклятиями оставили лежать под землей. Им просто не хотелось со мной возиться, ведь пришлось бы тащить меня на себе. Янина была в полном отчаянии от того, что увяли Митека, и побежала в совет умолять о его освобождении. Брошенный, беспомощный, отчаявшийся, лежал я в своей яме. Я метался в жару,

и мне чудилось, будто меня уже погребли заживо. Лаз в подпол был очень узкий, как бутылочное горлышко. Я казался себе пробкой, которую протолкнули в бутылку. Как я мог, такой слабый, снова выбраться на свет? Меня могли просто пристрелить сверху. Я настолько отчаялся, что уже хотел, чтобы это случилось и все побыстрее закончилось. Вдруг появились пятеро из полиции. Пыхтя от напряжения, они тянули меня вверх, протискивая через лаз. Они бросили меня на пол лачуги, где я и остался лежать, с трудом дыша. Озноб тряс меня как старый автомобиль, который все пытается тронуться с места. В конце концов мой жалкий вид, должно быть, вызвал сочувствие этих людей. Они ничего мне не сделали и вызвали врача. И случилось еще одно чудо: Митеха в еврейском совете отпустили. Янина была вне себя от счастья. В очередной раз оказалось, что мы все еще живы.

Во тьме ненастных дней появился лучик света. Ангел явился в наше гетто.

Я все еще лежал больной и был занят двумя вещами: мышами и мыслями о смерти. И тут открылась дверь и в нашу лачугу вошла Криста. Я думал, это бред. Но это и в самом деле была она. Криста, мой деловой партнер в другой жизни, в том невероятном времени, когда я жил как чело-

век в Мюнхене и у меня был филателистический магазин в центре, на Стахусе.

В последнее время, когда вестей от меня совсем не стало, Криста впала в чрезвычайное беспокойство. У нее появилось чувство, что она должна мне помочь, и, поскольку она не могла сделать это из Баварии, в ней все больше крепло решение навестить меня в Польше. Она приехала не с пустыми руками. Она привезла белье и одежду, привезла продукты и некоторые ценные вещи. Любому другому препятствия на пути из Мюнхена в польское гетто показались бы непреодолимыми. Криста с присущим ей упорством смогла пробиться через все преграды, и ничто ее не испугало. Ей пришлось долго искаль тот путь, по которому можно было до меня добраться. Один из ее знакомых был чиновником немецкой администрации в Радоме. Когда этот чиновник приехал в Мюнхен, Криста доверились ему, рассказала о моей судьбе и спросила под конец, что бы он стал делать в таком случае, чтобы спасти человека. Ответ был дан тут же, и ответ, удивительный для чиновника национал-социалистического государства: «Разумеется, помогать!» Тогда Криста и ее знакомый договорились сделать все, что только возможно. Криста получила разрешение на поездку в Варшаву. Она доехала до Варшавы. Условия передвижения гражданских лиц в это время были настолько сложными, что добраться от Варшавы до Тернополя оказалось почти невоз-

можно. И все же ценой неимоверных усилий Кристе удалось это сделать! Она ехала в битком набитых, промерзших поездах, которые часто часами стояли в снегах. В Тернополе выяснилось, что поезда до Збаража больше не ходят. Всего лишь двадцать девять километров разделяли нас, но они казались непреодолимым расстоянием. С трудом Криста нашла ночлег у вокзала. Ее терзала мысль, что после всех усилий и опасностей ей придется повернуть назад, так ничего и не добившись. На следующий день она снова поспешила на вокзал. Она встретила там двух солдат, которым тоже нужно было в Збараж. Наконец им удалось раздобыть локомотив, и они взяли Кристу с собой. Это была отчаянная поездка. На одиноком локомотиве, поднимавшем облако снега, она добралась до нас. Она совершенно закоченела.

Криста уже отогрелась. Но теперь она поражена убожеством нашего жилища, недостойного быть человеческим домом. Она сидит у моей постели, и мы оба плачем. Как далеки от меня Мюнхен и филателистический магазин на Стакусе. Но нам есть чем гордиться. Мужество и верность одной женщины разрушают все нагромождения лжи о расовой ненависти.

Это были три счастливых, три волнующих дня, и все было просто замечательно. Ночевать Криста устроилась за пределами гетто, а самое главное, в

это время не было «акций». Дни она просиживала у меня, давала выпить привезенного ею вермута, и рассказам не было конца. Потрясенная нашей судьбой, она пообещала помочь, прежде всего деньгами. Она надеялась, что через своего знакомого в Радоме сможет это устроить. Если нам суждено остаться в живых, то благодарить за это мы должны Христу, ее самоотверженность и ее мужество. Я с большим беспокойством смотрел, как она уходит и вновь отправляется в опасный путь. В деревенских санях ее повезли в Тернополь. В Варшаве самая тяжелая часть ее пути закончится.

Митек, за которым Янина ухаживает самоотверженно (но не все в ее силах), никак не может оправиться от тифа, а потому не может взяться за тяжелую работу, которая могла бы защитить его от «акций». Он сидел у нас, все больше и больше мрачнея, и наконец сообщил о своем решении вступить в еврейскую полицию. Он собрал из своего имущества все, что хоть как-то можно было использовать, чтобы купить эту проклятую должность, которая, возможно, спасет ему жизнь. Его решение причиняет нам боль. Но как мы можем удержать его от этого? У него нет другого выхода.

Кружным путем, через Радом и одну нееврейскую семью в Збараже, нам пришло первое письмо от Кристы. В Варшаве она увидела зверские расправы в гетто. Всю дорогу она не могла удержаться от слез. До Мюнхена она добралась уже совершенно больная. Она посыпает деньги и посылку. Для нас сверкнул луч надежды! Моя воля к жизни чуть-чуть окрепла, потому что Криста нам помогает.

Сегодня в пять утра меня разбудила беспорядочная стрельба. Я вскочил и осторожно выглянул из окна. Люди в форме преследовали в утренних сумерках других людей, на которых формы не было. Преследователи стреляли по ним из револьверов. Как-то давно я охотником участвовал в облаве. Я тогда поклялся никогда больше этого не делать — уж больно жалко было бедных зверей. Увиденное напомнило мне о тех событиях, но в этот раз загонщики преследовали людей. Я тут же разбудил соседей, которые, несмотря на стрельбу, еще крепко спали. Началась паника. Мы не успевали одеться. Прямо перед нашим домом раздался ужасный крик. Схватив одежду в охапку, мы юркнули сквозь лаз в подпол. В суматохе я потерял ботинки и стоял теперь босой на влажной, холодной земле. Мы дрожали и не осмеливались даже пошевелиться. Наверху бродила смерть. Стрельба, похоже, не унималась. В любой момент облава могла ворваться в нашу

комнату. Отовсюду слышались резкие крики, хватавшие за сердце, как ледяные пальцы. Горло у нас пересохло, пульс стучал в висках, на лбу выступил холодный пот — это был настоящий страх смерти. Мы были уверены, что на этот раз нам придет конец. Но вдруг кошмар рассеялся. Ангел смерти пролетел мимо, облава обошла нас стороной, крики и револьверный лай постепенно затихли вдали.

Когда наступил день, Митек решился выйти из укрытия. Янина умоляла его остаться. Но он считал, что ему нужно явиться в еврейский совет. Он вылез, передал нам воды, хлеба и мои ботинки, еще раз замаскировал вход в подпол и ушел. А мы ждали в темной норе. Какое-то предчувствие мешало нам вылезти на свет. Через час Митек вернулся и крикнул нам, чтобы мы сидели очень тихо, идет большая «акция». До сих пор взяли девятьсот евреев. В том числе и его невесту. Страх наш снова усилился.

Около полудня Митек пришел снова. Он был в отчаянии. Дело дрянь, сказал он, но ему нужно выручить невесту. Во время прежних «акций» полицейские, если они были усердны и смогли отличиться, получали право освободить одного человека из своих. Надо было пойти к одному из тех, кто руководил «акцией», к эсэсовским патрулям, и сказать: «Я хорошо поработал!» Коханек, один из самых рьяных в еврейской полиции, освободил таким образом своих родителей, но за это ему пришлось привести двадцать других евре-

ев. Он хотел освободить и сестру, но ему не удалось поймать еще двадцать человек.

В четыре часа пополудни Митец вернулся снова. Мы все еще сидели окоченелые в подполье. Он сообщил, что его невесту должны освободить. Но ее уже отправили на вокзал, поэтому он поспешит туда. Проходил час за часом. Митец не возвращался. Мы ждали. Кругом была полная тишина. Жуткая тишина. Мы напряженно прислушивались в ожидании шагов. Но Митеца не было. Мы осторожно приоткрыли люк, чтобы подышать свежим воздухом. Но все еще не отваживались выбраться из укрытия. Вдали слышались пулеметные очереди. Там расстреливали людей! Янина все больше волновалась за Митеца. Я тоже был обеспокоен, но пытался скрыть это.

Это была долгая ночь. И всю ночь мы просидели в нашей норе. Наконец, после суток подпольной жизни, в шесть часов утра мы выбрались из укрытия. Я отважился осторожно выйти на улицу. Снова у дороги лежали мертвые. Тела уже закоченели. Кровь окрасила снег. Крестьяне, двигавшиеся на рынок, обступали их с любопытством и, судя по всему, без всякого сострадания. Лишь несколько оставшихся в живых евреев осмеливались, как и я, бродить по улице. Пугливо и растерянно, как затравленные звери, озирались они вокруг. И тут мы услышали, что Стернберг, глава еврейской полиции, был расстрелян вместе с сорока восемью поли-

цейскими. Всего было расстреляно тысяча пятьдесят человек. Хоронить тела пришлось полицейским. После этого их самих поставили под пулеметы. Недобродушие предчувствие, угнетавшее Янину, подтвердились теперь самым трагическим образом: Митец тоже был среди расстрелянных.

Гетто стало совсем как город мертвых. Гнетущая тишина стоит на пустых улицах. Покинутые дома словно призраки; из пустых оконных проемов и распахнутых дверей выглядывает ужас. Как рассказал один из очевидцев, жертвы того дня находились под усиленной охраной на площадке перед банями. Им было приказано сесть на землю. Поскольку они знали, что их будут обыскивать, некоторые зарывали в землю все, что было у них ценнего, прямо там, где сидели. Земля была мерзлой, и они разодрали себе руки в кровь. После этого их разбили на группы и стали заводить в бани, где им пришлось почти полностью раздеться. И в таком виде, полуголые, они шли через город три километра до ям, в которые их потом сбрасывали. Здесь им приказали снять и белье, они остались в чем мать родила. Расстреливали их группами по десять человек. На следующий день у бани валялись удостоверения и фотографии убитых. Ветер и какие-то дети играли ими. В руках у одного мальчика я увидел фотографию хорошего знакомого. Я попросил у него фотографию, и он отдал мне ее. Сегодня евреям приказали за-

няться сортировкой одежды убитых. Их кольца и другие украшения собирают в отдельные мешки.

Уцелевших пересчитали, и оказалось, что в гетто нас осталось еще девятьсот человек. Никто уже не надеется уцелеть. Мы — город обреченных. Ходят слухи, что Збараж уже в течение этого месяца должен быть полностью очищен от евреев.

Играющие дети случайно обнаружили что-то из ценностей, зарытых перед банями. На это место началось паломничество. Люди приходили издалека, совсем как когда-то на Аляску, чтобы добывать из земли золото. Мертвцы остались немало: украшения, деньги, в том числе и доллары. Печальная пожива.

Немногие из оставшихся в живых полицейских больше не хотят нести службу и выбросили свои повязки. Теперь места в полиции можно получить даром. Организован новый еврейский совет. Первым делом он обнаружил, что ему требуются деньги, и мы были обложены новой данью.

Еще никогда мне не было так погано, как сегодня. У меня дрожат руки. Я то и дело готов расплакаться. Я чувствую себя оскверненным и обесчещенным. Я больше не человек. Сегодня мне и другим еврейским мужчинам приказали с

лопатами явиться к захоронениям расстрелянных. Могилу лишь слегка присыпали землей, кровь просачивалась наружу. Масса мертвых тел начала гнить. Из глубины поднимались пузыри, и ужасный смрад стоял вокруг, перехватывая дыхание. Бродячие псы разрывали землю. Они приносили в зубах части тел погибших даже в город. Собака одного из крестьян притащила руку в дом своего хозяина. Ежедневно кого-то отправляют к захоронению, чтобы снова и снова засыпать могилу землей. Это настолько кошмарная работа, что каждый может выполнить ее только один раз.

Наш нееврейский друг, получающий для нас почту от Кристы, подозревает, что за ним следят, и не чувствует себя в безопасности, поэтому он больше не осмеливается помогать нам. Мы в полном отчаянии. Если посылки от Кристи не будут до нас доходить, мы пропали. Ведь мы перебиваемся только со дня на день, где подкупом, а где хитростью. На счастье, нашелся добрый врач, согласившийся вести за нас переписку с Кристой.

Восемнадцатилетней девушке, писаной красавице, эсэсовцы сказали: «Да, ты красива. За это ты получишь две пули». Молодую, двадцатилетнюю женщину при расстреле только ранило. Она каталась по земле от боли, кричала, что еще не хочет умирать. «При чем здесь умирать, — спросил эсэсовец, — еврей не умирает, еврей подыхает». Пя-

тилетний мальчик расширенными от ужаса глазами смотрел на своего палача. «Ну что, малыш, получай и ты пульку», — сказал веселящийся убийца и застрелил его.

Почти наверняка Збараж будет очищен от евреев, и нам нужно что-то делать, чтобы спастись. Мы переговорили с одним украинским крестьянином, и он пообещал нам помочь и убежище — за хорошие деньги, разумеется. Сегодня он забрал на своей подводе постели, одеяла, одежду, белье и кое-какие продукты. После этого мы дали ему триста золотых в задаток. Мы с большой надеждой смотрели ему вслед. Мы никак не могли свыкнуться с мыслью, что нам помогут. Но теперь нам предстоит самое трудное. Покидать гетто запрещено под страхом смерти. Но мы должны отважиться на побег. Мы ведь все равно приговорены к смерти.

Вот как мы бежали. Мы подождали, пока не начнет темнеть. Ожидание тянулось бесконечно долго. Нам казалось, что вечер никогда не наступит. Наконец время пришло. Мы крадучись вышли из гетто. У последних домов мы сняли с рукавов еврейские повязки и спрятали их. Еврейской полиции мы могли уже не бояться, она теперь сама разбегалась по лесам. Но вот украинская полиция была опасна. Мы были пре-

дельно осторожны. При малейшем подозрительном шуме мы бросались на землю. Все это напоминало приключенческие книги об индейцах. Только гораздо страшнее. Я чувствовал себя очень плохо. Лишь с трудом мог передвигать ноги. Несколько раз я терял силы. Луна спряталась, словно не хотела смотреть на наши страдания. В темноте приходилось держаться за руки, чтобы не потеряться на поле. Залаяла собака. Похоже, что она кружила вокруг нас. Может, это была сторожевая собака? Мы испугались. В любую секунду она могла броситься на нас из темноты. Наконец, взмокнув от пота, мы добрались до крестьянского двора. Я сел на землю под деревом. Я совершенно обессилел, но думал только о том, что теперь мы спасены.

Крестьянин провел нас в сарай. Мы улеглись в солому. Было холодно. Перед рассветом пришел сын крестьянина и поднял нас. Он сказал, что идет комиссия с проверкой проживающих и нам нельзя здесь оставаться. Сын крестьянина вел себя недружелюбно, был резок. Он оставил двери сарая открытыми, потому что хотел, чтобы мы убежали. Но мы не отваживались идти куда-либо. Мы просто не могли решиться оставить место, которое считали своим прибежищем. Час прошел в страхе. После этого пришел старый крестьянин. Он был угрюм и растерян. Он сказал, что из-за нас его дети ополчились на него и он не может оставить нас у себя. Мы униженно умоляли его сжалиться над нами. «Ну ладно», —

сказал он и добавил, что выроет для нас убежище. После этого пришла крестьянка с крынкой горячего молока и чугунком вареной картошки. Мы изголодались и набросились на еду как сумасшедшие. Крестьянка смотрела на нас, как на диких животных. Когда мы поели, она заявила нам, что мы все равно должны уйти из их дома. Она боится за свою семью, а в Збараже, сказала она, все спокойно. Теперь мы принялись умолять ее, но все без толку. Нас выгоняли. Мы были в полном отчаянии и не знали, что делать. Ужас охватывал нас при мысли, что придется вернуться назад. Мы продолжали тупо сидеть на соломе. Через некоторое время в сарай пришла маленькая белокурая девочка и с воплем страха убежала, увидев нас. После этого мы услышали крики на дворе. Нам не оставалось ничего другого, как бежать. Мы неслись вприпрыжку по полям. Мы задыхались. Мы боялись, что за нами будут гнаться.

Днем для этого времени года было уже довольно жарко. На полях работали крестьяне. Они не обращали на нас внимания. Весна была в разгаре. Для нас, затравленных, не зацветут цветы и не созреют плоды. Судьба гнала нас обратно в западню, обратно в гетто, в загон, в нору, в ожидание смерти. После напряженного бега я полз как улитка, тяжело пыхтя. На одном из перекрестков я начал задыхаться. Пришлось сесть, а встать я уже не мог. Что это? Конец? Смерть? Избавление?

Вдали показался какой-то крестьянин. Он приближался к нам. Я заподозрил неладное, но подняться не мог. Янина просила, Янина ругалась, Янина толкала меня в полном отчаянии: «Давай же, давай!» Ничего не получалось. Я не мог сдвинуться с места. А крестьянин уже был рядом. «Где ваши повязки?» — спросил он по-украински. Янина ответила по-польски. Но он уже понял, что мы бежали из гетто. Он резко потребовал идти с ним в полицию. Преодолевая сильную боль, я сделал несколько шагов. Потом упал на колени. Я умолял крестьянина отпустить нас. Мы спросили его, какой ему будет прок, если нас расстреляют. Крестьянин подумал и потащил нас в кусты у дороги. Там он потребовал тысячу золотых и золотые часы, если мы хотим, чтобы он оставил нас в покое. У нас уже не было часов. Денег тоже не было. Он был разочарован и рассвирепел. Делать было нечего. Но мы, пропавшие, которых в лучшем случае ждала пуля, продолжали умолять его. В отчаянии я приподнялся и погладил лицо этого человека, чтобы смягчить его. Он обыскал сумку Янины и забрал триста шестьдесят золотых, которые у нее еще оставались. Мне пришлось раздеться. Я стоял перед ним голый. Он обыскал мою одежду. Он ощупал меня. Все без толку. Денег у меня не было. Наконец он дал мне пинка и молча отвернулся. Он ушел. Мы снова были спасены. Мы казались самим себе тенями, когда, никем не замеченные, прокрались обратно в гетто.

В гетто мы пробежали мимо домишкы, из которого доносились веселое пение и громкий смех. Мы прислушивались и не могли понять причины радости. В этом неприкаянном месте, в этом пропитанном несчастьем воздухе звуки веселья производили жутковато-нереальное впечатление. Смех и пение причиняли нам физические страдания. Хотя мы были такими усталыми, что, казалось, не смогли бы сделать и лишнего шага, мы все же подошли и заглянули в окошко. Мы увидели молодых людей, предававшихся веселью с какой-то отчаянной бесшабашностью. Как мы потом узнали, они поняли, что терять им нечего, и решили податься в леса.

Наш дом был пуст. Все наше добро вывез крестянин, у которого мы собирались прятаться. У нас остались только шляпная картонка и маленький чемоданчик. А в гетто опять были новости! Территорию гетто резко сокращали. Немногим оставшимся евреям было отведено несколько домов поблизости от бани. Мы должны были в течение двадцати четырех часов покинуть нашу лачугу, а рядом с банями у нас никакого жилья не было. Это случилось в мой день рождения. Я безуспешно пытался найти пристанище в новом еврейском районе. Наступил вечер, а мы по-прежнему оставались бездомными. Мы решили провести ночь в старом доме, на голом дощатом полу. Это была призрачная ночь.

Гетто не просто казалось вымершим, таким оно и было на самом деле. Лишь около полуночи послышались звуки. Ночной сброд в последний раз шарил по покинутым жилищам ограбленных и замученных. В тусклом свете луны они словно крысы перебегали от дома к дому. Мы сидели скорчившись на полу, усталые и насторженные. Неожиданно дверь нашей комнаты распахнулась. В дверном проеме показался силуэт мужчины, светившего нам в лицо фонариком. На мгновение свет ослепил нас, и мы от страха не могли пошевелиться. Затем резкий свет фонаря погас. Только тлеющий огонек сигареты выдавал незваного гостя, все еще стоявшего у двери. Мы затаили дыхание. Это было как в кошмарном сне. В любой момент могло случиться что-нибудь ужасное. О чем думал тот человек? Вдруг огонек сигареты исчез во тьме, и дверь захлопнулась. Он ушел.

Профессор Гальперн сжался над нами и приспустил в маленькой комнате, где он живет с женой, сыном и ребенком, которого они взяли к себе, после того как его родители погибли во время последней «акции». Места хватало только на то, чтобы прилечь на полу в углу, но это, по крайней мере, крыша над головой и защита от полицейских патрулей, преследующих нас на улице.

Остатки гетто — одна-единственная камера смертника. На улице люди ведут себя так, словно уже умерли. Они больше ничего не говорят друг другу при встрече, они только плачут. Мы как рыбы в бассейне ресторана. Да и тех осталось немного.

Сегодня утром эсэсовцы дважды появлялись на еврейской улице, и каждый раз начиналась паника. Мы ели картофельный суп вместе с семьей Гальперна, и настроение у всех было подавленное. После еды я писал дневник, Янина занималась посудой. Госпожа Гальперн помылась, надела чистое белье и лучшее платье. Потом она попросила меня позвать ее мужа и сына. Пока я ходил, она тихонько переговаривалась с Яниной. Янина была испуганна. Своего мужа и сына госпожа Гальперн попросила не осуждать ее за то, что она их покидает. Мне она тоже протянула руку со словами: «Прощайтесь со мной». Нас душили слезы. Профессор Гальперн онемел. Испуганный ребенок кричал. Я в ужасе воскликнул: «Нет, вы не вправе этого делать!» Но было поздно. Она уже приняла яд. Теряя сознание, она опустилась на деревянную скамью. Она умерла к утру от отравления люминалом. Найти врача не удалось. Живший в гетто аптекарь всю ночь пытался ей помочь, но тщетно. Ее родные безутешны, зато теперь она избавлена от мучений, которыми

наполнена наша жизнь. Многие евреи запаслись ядом...

Молодые люди, которые пели и смеялись в ту ночь, когда мы вернулись в гетто, бежали в леса. Они собирались пробиться до Волыни и присоединиться там к партизанам. Однако уже на следующий день их обнаружили в лесу неподалеку от Збаража, и четверо из них были убиты на месте. Пятого, тяжело раненного, доставили в еврейский совет, где он умер спустя несколько часов.

Надо же — дети играют на еврейской улице. Еврейские дети. Я смотрел на них из окна. Они играли в «акцию». Из ящиков и досок одни сооружали себе укрытия и прятались в них, а другие изображали эсэсовцев и выгоняли их из тайников, чтобы потом расстрелять из деревянных винтовок. Я боюсь, что дети играют в свою собственную судьбу — ту, что их ожидает.

Сегодня в гетто вошли три немецких солдата. Сперва началась обычная паника. Их приняли за эсэсовцев. Однако я увидел, что это были солдаты вермахта, а потому остался стоять перед домом, когда все бросились врассыпную. Эти трое спросили меня, почему все разбегаются. Они ведь

никому ничего не делают. Один из солдат хотел показать двум другим, как живут евреи. Я сказал: «Евреи живут так же, как и все другие люди, если только им дают жить по-человечески». Тогда солдаты вежливо спросили, можно ли войти в дом. На нашем столе лежало полбуханки хлеба. «Так все-таки еда у вас кое-какая есть», — сказал один из солдат. Похоже, они представляли себе дело так, будто есть нам уже просто совершенно нечего. Присоединившаяся к нам Янина показала им фотографию Митеха и пожаловалась, что его расстреляли. В ответ она услышала: «Ему хорошо, для него уже все кончилось». После всего этого они очень вежливо поблагодарили меня и пошли дальше. Они удалялись, довольные тем, что видели достопримечательность, остатки вымирающей расы.

В Збараже и прилегающих селениях расклеены большие плакаты с надписью: «За укрывательство евреев — смертная казнь». Никто не должен ускользнуть от палача. Тайники в еврейских домах потеряли всякий смысл, потому что они уже известны карателям. Теперь мы отправляемся по ночам с кирками и лопатами в лес и зарываемся в землю. В темном кустарнике мы словно муравьи, старательно складывающие муравейник. Иногда украинская полиция стреляет наугад, на звук, услышав нашу возню.

Мы сидели в норе и разговаривали. «Бог нам поможет», — сказал я. Алтекарь ответил с ожесточением: «Ну и где же он, ваш Бог, господин Литтнер?» Ночной ветер пел в листве деревьев свою древнюю песню. Над лесом сверкали звезды. За лесом подстерегала одетая в мундир смерть. Я ответил: «Бог здесь, с нами». Профессор Гальперн спросил в отчаянии: «А как Он может нам помочь, каким образом?» Я ответил: «Это тайна». В гетто закричала женщина.

Булочник Л. доставляет жителям гетто муку и хлеб. Внакладе он не остается. Сегодня он был у нас и предложил творога. Неожиданно мне пришло в голову спросить его, не может ли он помочь нам спастись. Он раздумывал. Я пообещал ему вознаграждение. У него, сказал булочник, нельзя, у него семеро детей. Но он подумает. Не Господь ли послал нам булочника в последнюю минуту?

Булочник объявился снова и сообщил, что ему удалось найти для нас подходящее место. Он вполне обычный человек. Но для нас он был ангелом. Янина пошла с ним, чтобы договориться с людьми, которые были готовы принять нас. Когда Янина вернулась, она рассказала удивительную историю. Б., польский дворянин, известен в городе как ярый сторонник фашизма. Он

владеет расположенным на окраине города особняком с роскошным садом. Однако в городе знают, что, несмотря на прекрасное имение, у него в кармане ни гроша. И чтобы раздобыть денег, он, фашист, согласился спрятать у себя нас, евреев. Янина с ним договорилась. Нас там ждут.

Чтобы не привлекать внимания, мы выходили из гетто поодиночке. Расставание тронуло наши сердца. Один из тех, кто пожимал на прощание мою руку, показал мне яд, который он всегда держит при себе, как последнюю надежду. В ус-ловленном месте за пределами гетто нас ожидал булочник. Он и проводил нас к тому, кто был го-тов стать нашим спасителем.

Дом находился в саду, вдали от гетто, а для меня он находился словно в другом мире, в ис-чезнувшем мире, в котором, возможно, когда-то жил и я. Теперь, казалось, я попал в оазис, пройдя через ужасную пустыню. Я ждал хозяина дома в красивой, большой, хорошо обставленной комнате. Может быть, комната вовсе и не была такой уж красивой, большой и хорошо об-ставленной; пожалуй, в ней что-то было не в по-рядке, что-то производило странное впечатле-ние и позволяло предполагать, что и хозяин ее несколько странен, но после лачуги, из которой я пришел, и в тот момент, когда здесь должен был появиться мой спаситель, это жилище каза-

лось мне оплотом спокойствия и образцом уюта и благополучия. Сквозь раскрытые окна можно было видеть сад, роскошный в разгаре лета. Мое внимание привлекло множество цветов: на высоких стеблях цвели розы, клумба петуний под яркими лучами солнца казалась пестрым ковром, а в отдалении старые яблони отбрасывали уютную тень. Но вот в комнату вошел Б. Он был высокий и худой, аристократической внешности, но какой-то надломленный, и от него исходило беспокойство. Он рассматривал меня холодным и в то же время бегающим взглядом. Мы обменялись любезностями. Деловые переговоры относительно условий нашего пребывания Янина с ним уже провела. Деньги были переданы. Теперь Янина добавила еще буханку хлеба и костюм своего покойного мужа. Б. взял то и другое, с достоинством, но все же как-то мучительно. Все, что у нас еще оставалось, мы отдали булочнику.

Б. вежливо, буквально как хозяин замка, которого обстоятельства, к сожалению, вынуждают брать постояльцев, проводил нас к подготовленному убежищу. Нам пришлось спуститься по подгнившей деревянной лестнице в глубокий подвал. Там пахло сыростью и плесенью. Б. пояснил, что раньше здесь держали запасы картофеля и овощей. В глубине подвала в полу было отверстие. Того, кто над ним наклонялся, встречали непроницаемая тьма и спертый воздух. Грубо вырезанные в глине ступени вели на несколь-

ко метров вниз, в темные глубины. Приходилось двигаться на ощупь. Мы медлили. Это был спуск в преисподнюю. Но выхода у нас не было. Это была наша нора. Это было наше убежище. Это было наше спасение.

Мы провели первые часы в нашей глиняной пещере и попытались освоиться. Мы двигались вслепую, на ощупь и то и дело натыкались на стены, на которых осела влага. Янина сказала, что стены нашей темницы очень сырье. Я же скорее склонен называть их надежными бастионами нашей крепости. Ведь эта нора должна нас защитить! Разумеется, только отчаяние может заставить забраться сюда. На время похоронить себя. Но все же это не смерть, не ров, в котором расстрелянные становятся одной кучей мертвых и еще дергающихся тел. Что-то будет наверху, в гетто?

К вечеру наш хозяин и булочник спустились в подвал. Булочник сообщил, что все гетто оцеплено СС и украинской полицией.

Несмотря на усталость, несмотря на терзания и тревоги последних дней, ночью мы не могли уснуть. Холод, снаружи и изнутри, мучил тело и душу. В норе нам казалось, что за спасение нам придется расплачиваться гниением заживо. Мы лежали в темной глубине земли, и все же только с ужасом могли думать о верхнем мире, где в тот момент, судя по всему, как раз

и ликвидировали гетто. Ликвидировать — это значит уничтожать, а уничтожать — значит убивать.

Ранним утром мы слышали, как со стороны гетто доносилась безостановочная стрельба. Позднее пришел булочник и рассказал, что «акция» идет полным ходом. Он сказал, что многие, кого мы знали, отравились в своих домах или на улице. Других расстреляли. Людей заставили рыть себе могилу, перед которой их затем выстроили, чтобы прикончить. До поздней ночи мы слышали пулеметные очереди. Потом наступила тишина. Смерть насытилась. Последняя «акция» была закончена. СС поработало основательно. Збараж был полностью очищен от евреев.

Збараж очищен от евреев! Пулеметы молчат. Смерть молчит. Могилы молчат. Германия молчит. Мертвые евреи молчат тоже. Мир вокруг нас нем. Мы, спасшиеся в земляной норе, окружены молчаливыми, сырьими стенами. Мы живем во мраке. Мрак тоже молчит. В нашей пещере темно, холодно и тихо, как в могиле. Но мы живы! Порой мы двигаемся. Порой мы гладим друг друга. Мы утешаем друг друга: «Не отчайвайся! Мы ведь спутники. Ты моя спутница под землей, моя спутница в могиле, моя спутница в чистилище!» Руки встречаются во мраке. Какая судьба связала нас? Солома, на которой мы лежим, перемешалась с глиной и превратилась в липкую

массу. Спички — если бы они у нас были — не стали бы гореть в этом спертом воздухе. Бог свел нас вместе. Бог привел нас сюда. Откуда моя надежда на Бога? Я вижу в этой пещере, в которой не видно ни зги, я вижу совершенно ясно: Бог нас спасет! Конечно, я буду ныть, завтра мне будет казаться, что сил у меня больше нет, что все кончено, пора в могилу. Так будет мне казаться; я просто человек, а переношу нечеловеческие страдания. Но Бог нас спасет! Сейчас я знаю это. Наверняка. И даже если я забуду эту минуту, если отрекусь от нее, если рот мой, забитый землей, прокричит, что Бога нет, — эта минута прозрения придаст мне силы сохранить присутствие духа даже в самой кромешной темноте и пережить адские муки.

Хозяйка дома снабжает нас всем необходимым. Б. предупредил нас, что она не в себе и может выкинуть что угодно, поэтому мы побаиваемся ее. По утрам она приходит с кувшином горячей воды. Часть воды мы выпиваем. Оставшееся идет на умывание. Около полудня мы получаем варенную картошку, а через день — суп. Иногда булочник передает нам немного хлеба и масла. Нам приходится платить ему сумасшедшие деньги. В подземной сырости продукты плесневеют и размокают, расползаясь в руках. Наша одежда и обувь начинают гнить.

Прежде чем мы сгнием здесь заживо, я хочу назвать имена добрых людей. Криста! Прежде всего Криста! В Мюнхене были и другие люди, с добром относившиеся ко мне. Мой адвокат. Многие коллеги. Один, тот, который таил на меня злобу, не в счет. И вообще Мюнхен! Город был добр по отношению ко мне, все его жители хорошо относились ко мне, пока коричневая зараза не начала расползаться, как рак, и расовая ненависть не отравила добрые отношения. Мой сын Золтан Литтнер был убит. Мои сестры Зида Литтнер и Ирма Литтнер были убиты. Расстрелян Митец Корнгольд, один из сыновей Янини. Сколько друзей осталось лежать на дорогах изгнания и скитаний по гетто! И все равно наверху, в мире остались еще друзья. У беглеца, скрывающегося в подполье, есть друзья: Владислав Гонидевич, София Гладыш, доктор Гладыш, доктор Матинян, — это друзья, они помогают, нас спасут!

Мы лежим в темноте, как слепые, и уже привыкли передвигаться, как слепые. В гетто было много шума. Поначалу мы с трудом привыкали к тишине нашего нового жилища. Сырые глиняные стены не пропускают к нам звуки окружающего мира, замыкая нас в пространстве наших собственных причинений, нашего боязливого шепота. Постепенно мы сами умолкаем. Наши собственные голоса пугают нас. У нас с Яниной появилась способность понимать друг друга без слов, читая мысли.

Мы отрезаны от мира, но беды мира спустились вместе с нами под землю. Мы ломаем голову над тем, как прожить самим и как утолить алчность наших спасителей. Только от них мы можем получать хоть какую-то помощь и полностью зависим от расположения хозяина или булочника. Нам ведь нельзя покидать нашу нору ни на секунду. Даже посреди ночи мы не отважились бы выйти наверх. Объявлено большое вознаграждение за поимку евреев, спасшихся при ликвидации гетто и прячущихся по лесам и хуторам. Время от времени кого-нибудь из них выслеживают или выдают. Их тут же расстреливают или забивают. Ни один еврей не должен уцелеть. Б. рассказывает нам все эти ужасающие истории, явно намекая на то, как мы должны ценить доставшееся нам у него прибежище. Иногда он приносит нам в верхнюю часть погреба потайной фонарь и почтовую бумагу. Тогда нам приходится писать Кристе письма с целыми списками того, что он хотел бы получить. Кристе приходится отправлять посылки. Сегодня он заявил, что ему нужны наручные часы. Он ненасытен. Достаточно крупная сумма или ценная вещь удовлетворяют его лишь на несколько дней. Поскольку мы не знаем, как долго мы еще будем гостить в его глиняной пещере, мы выполняем его бесконечные требования с растущей тревогой. Булочник тоже хочет денег. Как может Криста справиться со всеми этими желаниями? А ведь на длинных кружных путях, ко-

торыми Криста отправляет нам вещи и деньги, так много пропадает, так много расхищается. Кто только не наживается на нашей беде.

Денег нашему хозяину оказалось недостаточно, теперь мы должны еще на него и работать. Он оставил нам ящик с остатками шерсти. В тусклом свете, который пробивается в верхний подвал, а то и во мраке нашей норы я распускаю старые шерстяные вещи, а Янина вяжет из этой шерсти чулки и носки. Это кропотливая работа. Мы за это ничего не получаем. Но все же хорошо, что у нас есть работа, потому что она хоть немного отвлекает от гнетущих мыслей.

Вся наша непосредственная связь с внешним миром — встречи с Б., с булочником и ежедневные появления полоумной хозяйки. Но небольшой круг верных людей знает о нашем призрачном существовании. Иногда они передают с булочником для нас продукты, но у нас такое чувство, что до нас доходит только половина. К сожалению, доставка почты от Кристы, нашего единственного источника жизни, постоянно находится под угрозой. Польский врач, которому Криста отправляла письма, дал нам знать, что все это предприятие для него, пожалуй, слишком опасно и он был бы рад, если бы мы воспользовались другим адресом. Теперь нам приходилось пускать почту в

обход через Краков, из-за чего возникали большие сложности. Часто заказные письма, в которые Криста вкладывала деньги, доходили до нас пустыми. А наш хозяин и булочник этих писем ждали. И если мы не получали ничего, что касалось их требований, они заявляли, что представляли себе все это иначе и что, если дело и дальше пойдет так, они не уверены в нашем будущем.

Одна оплошность едва не стоила нам жизни. Донимаемый хозяином и булочником, я был вынужден направить Кристе новый отчаянный крик о помощи. Впав в панику и опасаясь, что ее помощь придет слишком поздно, Криста послала заказное письмо не через Краков, а прямо сюда, нашему хозяину. На наше несчастье, письмо попало в руки почтмейстера Вигана.

Виган — человек опасный, убежденный антисемит, добровольно принимавший участие в уничтожении евреев. Еще раньше, когда нам разрешали получать почту в гетто, его заинтересовали мои письма, на которые Криста наклеивала филателистические марки. Филателистом он был даже более страстным, чем антисемитом, и както вызвал меня к себе через почтальона. Он потребовал от меня марок для своей коллекции, предложив взамен хлеба. Евреям было запрещено

заходить на почту. Виган впускал и выпускал меня через заднюю дверь. Теперь же письмо, на которое Криста с лучшими намерениями наклеила приметные марки, попало в руки этого почтмейстера-филателиста. Виган тут же сообразил: филателист должен быть жив, и решил все разузнать. К счастью, второй почтовый чиновник, Лазаревич, был порядочным человеком. Он знал о нашем убежище и не выдал его. Лазаревич взял опасное письмо и велел доставить его нашему хозяину, а в ближайшее воскресенье рассказал Б. в церкви о случившемся на почте. Поскольку письмо изчезло, Виган постепенно забыл о происшествии. Однако наш хозяин устроил нам дома — то есть в подвале, в темноте — ужасный скандал. Я тут же написал Кристе и умолял ее посыпать почту только через Krakow. Но мы боимся каждый день, что вдогонку за первым могло быть отправлено еще одно письмо. Оно стало бы нашим смертным приговором.

Всякое соприкосновение с внешним миром — как столкновение враждебных светил, угрожающее нашему странному существованию. Едва мы избавились от страха, что еще одно письмо от Кристи могло быть в пути и что это письмо попадет в руки почтмейстера, как нас настигла другая неожиданность. Рихард, второй сын Янины, неожиданно вынырнул из тьмы преследований, обрушившихся на евреев, и появился у нас.

Он прежде жил в Збараже, но потом, продав все имущество, купил себе фальшивое свидетельство арийского происхождения и жил в Кракове, будто он не еврей. В Польше многие занимались изготовлением таких липовых свидетельств, продавая их за большие деньги. Однако в большинстве своем эти люди были вымогателями. Рихарду не повезло, и он попал к ним в лапы. Благодаря фальшивым документам он мог жить за пределами гетто, среди поляков, но его постоянно донимали требованиями денег и угрозами бессовестные дельцы, перед которыми он был совершенно беспомощен. Когда он в конце концов оказался не в состоянии достать больше ни одного золотого, вымогатели решили донести на него. Рихард бежал после множества приключений, в полном изнеможении, словно выбившийся из сил затравленный зверь, он залег в нашу нору. Началась ужасная борьба с нашим хозяином. Б. ни при каких обстоятельствах не желал принять Рихарда в убежище, и лишь после настойчивых просьб, во время которых мне приходилось перед ним бесконечно унижаться, он нехотя согласился, чтобы сын Янины остался. Однако в ответ он предъявил нам жесткие условия. Рихард явился в довольно хорошем костюме, оставшемся еще от его «арийских» времен в Кракове. Он должен был снять костюм и отдать его Б., то есть получалось, что хозяин великодушно обменял этот костюм на совершенно разодраные брюки. Разумеется, Рихард,

плохо одетый, мерз в нашем холодном погребе, и Янине пришлось отдать ему кофту. В качестве кровати Б. пожертвовал Рихарду большую доску. Так мы и жили втроем, словно кроты под землей.

Там, наверху, в разгаре лето. Но на нас это никак не сказывается. В нашу нору не проникает ни лучика солнца. Жара усугубила душевное расстройство нашей хозяйки. Она неожиданно распахнула люк нашего тайника и прокричала: «А ну давайте, выметайтесь! Можете отправляться домой. Антихрист явился». В другой раз она вместе с обычной картошкой принесла нам тарелку обглоданных куриных костей. На наш вопрос, зачем нам это, она ответила, что мы должны приносить пользу и заняться переработкой куриных костей в стекло. Нам было не до смеха. Мы дрожали от холода, лишений и страха.

Сырость становится все более невыносимой. Мы опасаемся за наше здоровье. У нас ужасные ревматические боли. А что, если кто-нибудь из нас серьезно заболеет и умрет? Меня прошибает холодный пот! Ужасно даже подумать о том, в каком положении окажутся оставшиеся в живых. Наверное, им придется зарыть умершего тут же в глиняном полу. Мы не имеем права умирать.

Дни тянутся монотонной чередой. Мы теряем всякое чувство времени. Мы едва в состоянии сообразить, когда день и когда ночь. Мы как горняки, заваленные в шахте. Пробьется ли кто-нибудь к нам? Мы слабеем и становимся неповоротливыми. Руки и ноги деревенеют.

На земле сейчас зима. Мы лежим, задувевшие от холода, тесно прижавшись друг к другу, как звери в норе. Стены нашего погреба больше не влажные. Они покрыты инеем. Когда хозяин или булочник спускаются к нам в верхний погреб, они приносят на ботинках снег. Мы, должно быть, являем собой устрашающее зрелище. Мы по уши загажены, и грязь примерзла к коже и одежде. Зрачки у нас расширены от постоянного сидения в темноте. Мы боимся ослепнуть. Сегодня булочник заговорил о наступлении Красной Армии и отступлении немцев. Спасут ли нас большевики, доживем ли мы до их прихода?

У нас кончилось продовольствие, а хозяин и булочник снова ждут денег. Я не могу требовать от Кристи невозможного. Я ломаю себе голову над тем, как выпутаться из этой истории, и нужда заставила меня вспомнить о золотом мосте у меня во рту. Но как же снять мост? Я не могу пойти к врачу, и врача нельзя позвать сюда. Я попытался проделать операцию сам. Это продолжалось долго. Но мне спешить было некуда. Я пе-

режил мучительные часы. Зубы и челюсть болели, десны кровоточили и распухали. Наконец мне удалось расшатать здоровый зуб, на котором держался мост. Потом я сорвался с силами и вырвал мост вместе с зубом. Золото я отдал Б., который продал его зубному врачу. Он получил за мост три с половиной тысячи золотых. Я отдал ему половину, свою долю получил и булочник. Так мы выиграли еще немного времени, покой и хлеб.

Теперь булочник снабжает нас щедрее. Он рассказал, что немецкие войска, отступая, проходят через Збараж. Говорят, что позиции русских находятся всего в сотне километров от города. На окраинах под присмотром немцев роют траншеи. Все больше признаков, что немцев ждет поражение. Для нас это знаки надежды.

Хозяин спустился в наше подземелье очень встревоженный и сказал, что в доме будут расквартированы украинские эсэсовцы. Мы живем в полном страхе и едва осмеливаемся дышать в своей норе. Однако похоже, что слух не подтвердился.

И все же в доме появились солдаты. Наверху раздался сильный стук в дверь. Мы прислушались и разобрали немецкую речь. Русские все ближе и ближе, но тем сильнее опасность для нас. Мы

улеглись под солому, которая служит нашей постелью. Мы надеемся, что так нас не обнаружат, если кто-нибудь из немцев по какой-нибудь причине посветит фонарем в нашу темницу. Через некоторое время появился Б. и сообщил, что в доме немецкие эсэсовцы. Нам следует быть предельно осторожными, сказал он, возможно, на некоторое время всякая связь между нами будет прервана. После этого он спустил нам большой чугунок картофельного супа и предоставил нас нашей судьбе. Пусть спасение наше близко, но смерть по-прежнему еще ближе. Поражение не смягчило немцев. СС отстреливается озверело, как обложенный гангстер.

В доме все бурлит. Весь день доносятся топот солдатских сапог, голоса, то и дело срывающиеся на крик, беспорядочный галдеж. Похоже, в отступающих войсках царит неразбериха. Для нас все это дополнительные мучения.

Нам показалось, что Збараж собираются обронять всерьез. Сегодня после обеда началось движение автомобилей в сторону Тернополя, то есть на запад. Немецкое отступление идет полным ходом. Позднее послышалась артиллерийская канонада. Мы ощущали в нашей пещере разрывы снарядов. Мы словно в горячке. Нас бьет дрожь. Наши руки напряженно сжаты. Скоро пробьет час нашего освобождения.

Мы свободны! Мы чувствовали себя так, словно час избавления, такой долгожданный, неожиданно подкрался и вдруг оказался рядом, словно одним прыжком, так что дух захватило! Хозяин спустился к нам и сказал, что русские, по-видимому, вот-вот будут здесь. За ним появился булочник и рассказал, что видел на площади огромные русские танки. Наше волнение было столь сильным, что мы не могли вымолвить ни слова. Столь близкая свобода рождала в нас не радостные крики, а только рыдания. Потом наступило замешательство. Мы не отваживались выйти на волю, да и не могли сами выбраться из своей норы, а наш хозяин по непонятным причинам все еще опасался вытаскивать нас наверх. В его доме разместились русские солдаты, а он скрыл от них наше присутствие.

Происходящее чрезвычайно взволновало нас, и теперь мы говорили в полный голос. Наши голоса услышали наверху. Три русских офицера спустились в погреб и стали выяснять, направив на нас пистолеты, кто здесь прячется. Мы прокричали им, кто мы такие. Один из офицеров спустился к нам вниз, и мы предъявили ему наши документы, насколько это вообще можно было назвать документами. Русские были чрезвычайно удивлены нашей историей. Наше состояние их совершенно озадачило. Мы превратились в пещерных людей, и, я думаю, офицеры и правда

были готовы принять нас за пещерных жителей. Наши суставы закостенели, и мы были слишком слабы, чтобы выбраться на свет. Пришлось позвать русских солдат, чтобы они вытащили нас из пещеры. Сколько месяцев я не видел солнца. Оно висело, красное, как кровь, над снежными просторами. Ширь, свобода, солнце и снег оглушили меня. Я потерял сознание.

Мы были словно новорожденные, беспомощные и чужие в этом мире. Нам пришлось заново учиться ходить, и это продолжалось четыре недели. Мы спали на настоящей кровати. Кровать стояла в настоящей комнате. В комнате были окна. Занавески были задвинуты. Свет слепил нас. Мы закрывали глаза. Может, мы попали в рай? Русские отнеслись к нам со всем вниманием. Офицеры и солдаты угощали нас, и каждый старался что-нибудь подарить или чем-нибудь помочь. Путь в ночи закончен. В мире еще идет война. Но для нас свершилось чудо!

Ужасные сцены, которые мне довелось увидеть, невероятные приключения, которые мне пришлось пережить, тысячу раз повторявшийся страх смерти — все это не изгнать из памяти, из сознания, из души. Каждую ночь мне снятся кошмары. Я снова вижу убийц, вижу черных хищных птиц СС на серых кителях, на блес-

тящих плацах, я вижу, как падают расстрелянны-
е, и вскакиваю в поту, охваченный нервной
дрожью; а то я плачу во сне и просыпаюсь весь
в слезах.

Господин Цейтлин, корреспондент «Правды»,
побывал у нас; он интересовался нашей истори-
ей и нашим тяжелым физическим состоянием.
Нам пришлось показать ему обноски, которые
совсем приклеились к нашим телам к тому
времени, когда нас достали из подвала. Лохмотья
лежали на полу замечательной комнаты, в кото-
рой мы теперь живем, и производили диковатое
впечатление. После этого господин Цейтлин ос-
мотрел подвал и спустился в темную пещеру, со-
хранившую нам жизнь. Он был потрясен и про-
сто не мог поверить, что мы выдержали столько
месяцев в этой кротовой норе.

Мы в первый раз вышли немного погулять и по-
шли, опираясь на костыли, на рыночную пло-
щадь. Там мы увидели то, что напомнило нам о
всех перенесенных ужасах. Посреди площади
стояла виселица. На ней висел человек в разо-
дранным мундире, и любопытные окружали его.
Когда мы подошли поближе, то увидели, что по-
вешенный был когда-то наводившим на всех
ужас жандармом СС по фамилии Йецт. Он рас-
стрелял сотни евреев и предстал перед судом, об-

виненный в совершенных злодеяниях. Но какими бы тяжкими ни были прегрешения этого палача перед человечеством, мне было бы легче, если бы он не висел здесь на виду. Я не знаю, что следует делать с подручными смерти, с теми, кто так невообразимо много и с такой жестокостью избивали и убивали людей. Я не знаю наказания, которое могло бы воскресить убитых, исправить содеянную несправедливость. Испытания, через которые мы прошли, не дают мне утвердительно ответить на вопрос: есть ли справедливость в этом мире? Я бы не хотел, чтобы убийство продолжалось, чтобы снова ставили виселицы, а расстрельные команды принимались за свою кровавую работу. Я считаю, что убитых уже довольно. Человек пролил достаточно много крови. Каин вновь и вновь убивал Авеля. Этого хватит на все времена!

Наступил май, и наше здоровье поправляется. Бледное лицо Янини уже немного порозовело. Зато наш хозяин что-то занемог. Б. странный человек. Он помог нам, он, без сомнения, спас нашу жизнь, но ведь он воспользовался нашим положением и вымогал у нас деньги. Поэтому мы испытываем к нему смешанные чувства: то нам кажется, что мы должны быть ему благодарны, а то мы испытываем к нему отвращение. Может быть, уже тогда таившаяся внутри болезнь порождала в нем то жажду жизни, а вместе с ней и жадность, то угрюмость, цинизм и капризы. Яни-

на время от времени заходит посидеть у его постели. Он почти не разговаривает с ней, и все же кажется, что эти визиты доставляют ему некоторое удовольствие.

Наступило лето, мы дождались нового лета, проходит день за днем, а мы никак не можем привыкнуть, что свет и тепло существуют в этом мире и для нас. В прекрасном саду одни цветы сменяют в своем великолепии другие. Я только сейчас могу оценить, с какой любовью и тщательностью был заложен сад. Б. вплоть до того дня, когда болезнь уложила его в постель, был страстью цветоводом. Теперь, когда он больше не бывает в саду, редкие растения сами свидетельствуют о его садоводческих талантах: мы видим черные тюльпаны, красно-черные розы, даже белые и красные розы на одном стебле. Задняя стена дома густо поросла жимолостью. Мы проводим теперь час-другой в этом маленьком цветущем раю. У постели Б. редко бывают посетители из города. Наверное, он был одиноким человеком, может быть даже мизантропом, и всю свою любовь, кажется, отдавал цветам. Странно, что именно ему мы обязаны своей жизнью.

Сегодня я зашел в бывшее гетто. Это было тягостное зрелище. От домов, в которых ютились в ужасной тесноте около пяти тысяч евреев, осталось всего несколько. Все другие превратились в груду развалин. Мне не сразу удалось найти те

две лачуги, где нам тогда довелось жить. А от евреев, которые жили и страдали здесь, не осталось никого. На улице, что называлась теперь улицей 9 января, я прошел по мостовой, которую без конца подметал, и увидел под ногами осколки надгробий с разрушенного детьми еврейского кладбища. Еврейские надписи на оскверненных могильных плитах все еще можно было разобрать сквозь уличную грязь.

В детском доме мне сегодня показали ребенка, который чудесным образом спасся от смерти. Во время последней «акции» по уничтожению евреев жившая неподалеку крестьянка принесла убийцам еврейского ребенка лет трех, которого ей отдали, чтобы уберечь от палачей. Женщина отдала его эсэсовцам, заявив, что не желает держать его у себя. Эсэсовцы посадили ребенка возле сожженной синагоги, и один из них прицелился в малыша, который и не подозревал, что с ним должно произойти, и продолжал спокойно сидеть. Прогремел выстрел, но пуля, несмотря на маленькое расстояние, пролетела мимо. Ребенок ответил убийце смехом. Тот прицелился еще раз, но и в этот раз промахнулся. И третий выстрел был неудачным. Удивленный и, возможно, озадаченный странностью происшедшего, эсэсовец подозвал украинского полицейского и велел ему забрать «это еврейское отродье» и крестить его. Эту историю подтверждают несколько жителей Збаража. Появилось много желающих усыновить ребенка.

Сегодня русские начали раскопки жертв пятой и шестой «акций» против евреев. Приехала комиссия, в которую вошли люди из Москвы и других городов, чтобы установить на месте факт массовых убийств. Значительная часть жителей Збара-жа, врачи и солдаты Красной Армии, а также немногие уцелевшие из пяти тысяч евреев вместе с комиссией отправились за город к ужасным ямам. Многие евреи, которые подобно нам отсиживались в самых непрятливых тайниках, впервые вновь свиделись по этому случаю. Каждому выпала своя страшная судьба, каждый горевал о смерти родных, друзей и знакомых, спасение каждого было чудом. Мы собирались у края могилы для молитвы, потрясенные до глубины души. Потом руководитель русской комиссии, майор, произнес речь. Затем тридцать молодых людей с лопатами начали эксгумацию. Слой земли, накрывавший убитых, был тонким. Первое тело, показавшееся на поверхности, было телом молодой женщины, державшей на руках ребенка. То и дело раздавались громкие причитания и крики евреев, некоторые, не в силах стерпеть боль, бросались на землю. Мы с Яиной с трудом выдергивали это зрелище.

Вскрытие массовых захоронений продолжается. Янина осталась дома, а мне пришлось снова идти, потому что я мог помочь в опознании трупов. За замком сегодня откопали девятнадцать уби-

тых. Среди них оказались молодой Экль, его жена и дочь, очаровательная Ноэми, которую я часто брал к себе на колени. И вообще именно в этой могиле мне довелось вновь увидеть многих знакомых, обезображеных насильственной смертью. Все, включая ребенка, были убиты выстрелом в голову, только у одной из жертв был проломлен череп. Свидетель рассказал, как убитых сначала заставили вырыть собственную могилу, а потом поставили на край ямы, и каждый получил свою пулью. Плачущего ребенка столкнули вниз. Крестьянин, которому пришлось засыпать могилу, еще долго, уже после того как земля накрыла тела, слышал детский плач. Его показания были занесены в протокол.

В лесу у Лубянки обнаружена могила семидесяти двух заложников первой «акции», ее вскрыли в присутствии комиссии. Похоже, что и здесь все происходило так же, как и в других случаях. Несчастных гнали к тому месту, где они должны были умереть. В первый раз этим местом была лесная просека, теснина старых жутких преданий, смертельная тропинка ужасных сновидений. У злых духов, в лапы которых попали несчастные жертвы, было унтер-офицерское нутро. Они, должно быть, прорычали: «К рытью могилы приступить!» — а дальше рьяно следили, чтобы все разобрали лопаты и кирки, чтобы рыли как следует, кого-то похваливая, а кого-то и распекая во всю глотку. И пока ев-

реи лихорадочно и изнемогая, задерганные выкриками своих мучителей и опасаясь побоев, рыли могилу, зная, что через несколько минут сами окажутся в ней, кто-то из палачей привычными не-брежными движениями устанавливал пулемет. После этого следовал приказ построиться перед ямой, и пулеметная очередь бежала вдоль шеренги, а они падали один за другим назад, и их кровь перемешивалась в могиле, а крик замолкал, задавленный растерзанным телом следующей жертвы. На этих первых жертвах массовых расстрелов еще была одежда. Тех, кого убивали позднее, заставляли перед смертью раздеваться. Злые духи вunter-офицерском обличье следили, чтобы одежда не пачкалась и была сложена аккуратно. Для этих убийц существовали только начальство и новобранцы. Евреи, которых они отправляли на тот свет, были для них новобранцами, с которыми надо было отрабатывать команду «На расстрел стано-вись!».

Сегодня скончался наш хозяин. Помешанная хозяйка, вместо того чтобы заниматься умершим, распевает на кухне хоралы об антихристе. В саду цветут свежие розы. По просторным комнатам дома гуляет летний ветерок. Откуда-то объявился сын покойного. Он забрал часы и бумажник и снова исчез, без звука, без слез, без душевных волнений, незнамо куда. Никто и не думал заниматься погребением. В конце концов это сделала Янина.

В газетах мы читаем о победах союзников и об ужасных бомбардировках немецких городов. Гитлер, одержимый бесом, приносит в жертву своим чудовищным бредням всю Германию. С тех пор как Красная Армия освободила нас в Збараже, мы не получали от Кристы никаких вестей. Сами мы спасены, но мы очень тревожимся о Христе, которая так верно помогала нам выжить. Я молю Бога, чтобы Он не дал погибнуть хорошему человеку в кровавой мясорубке, устроенной грязными преступниками в Германии.

Збараж возвращается к мирной жизни после пережитого им ужасного времени. Плоды лета везут на рынок. Там полно овощей и фруктов. Крестьяне снова появляются в городе с молоком и творогом, а то и с курицей, и они приветливо говорят мне: «Хороший творог, прекрасное молоко, жирная курица, господин», и уже почти не верится, что по ночам их подводы приезжали в гетто, чтобы забрать скарб казненных. Посреди рынка стояла пожилая дама с большим подносом. Не говоря ни слова, она предлагала маленькие, ею самой испеченные пирожные. Волосы у нее были белые как снег, а взгляд словно обращен куда-то внутрь. Это была еврейка из Тернополя, одна из немногих, кому удивительным образом удалось выжить. Она из хорошей семьи, все ее родственники лежат в братских могилах.

После спасения нас на первое время взяла на содержание Красная Армия. Но теперь и для нас началась борьба за хлеб насущный. Янина взяла в руки спицы, а я пытался найти себе применение то там, то тут. Многие дают нам работу и помогают. И все же Збараж — место для нас чужое, место изгнания, место, где нам довелось испытать адские муки.

Седьмого ноября русские отмечали революционный праздник. Немногие выжившие евреи справили на руинах синагоги благодарственную службу. Горстка уцелевших, те, кому было предначертано остаться в живых, собрались вместе — дюжины две, не более. В глубокой скорби помянули мы несчастных. Мы молились за них и благодарили Бога за наше спасение. Мы, живые, теперь избранные: мы свидетели бесчеловечности и мрака. Мы увидели страшную личину человека, доведется ли нам снова порадоваться его чистому облику и узреть в его чертах подобие Божие? На развалинах синагоги я нашел обугленные остатки Торы и взял их с согласия остальных. Куда бы ни забросила меня судьба после того, как смерть закончит свое дело в Европе (кто распахнул для нее двери?), Тора, обугленный кусок пергамента с древними, священными письменами, будет напоминать мне в этом мире о мире ином, о преисподней, о вырождении, непостижимым образом таящемся в человеческой сущности и способном в любую секунду и в любом месте прорваться страшной

силой, спровоцированной ничтожным обстоятельством, бредовыми видениями.

Мы прошли через ночь. Я знаю, что роль моя в этой пляске смерти была незначительной, я был всего лишь ничтожным статистом в разыгранный дьяволом постановке. Я пережил ужасное, однако у других судьба оказалась еще ужасней. И все же я проделал долгий путь из Мюнхена в Мюнхен, это была одиссея кошмаров, полная опасностей экспедиция, о какой мне не доводилось читать ни в одной книге, даже в рассказах путешественников по самым неизведанным местам Африки. Я побывал в пресподней. И то, что я снова живу в этом мире, я считаю чудом. Чудеса же творит только Бог, Бог провел меня сквозь смертельные беды! Он и никто другой.

Однажды в Збараже зазвонили колокола, верующие крестились, а русские подняли красные флаги, и на площади начался праздник: Германия капитулировала, войне конец. Мы отправились на запад, и это был путь по разоренной Европе. Мы видели уничтоженные польские города, мы видели разоренный Краков, мы видели волнения в Праге, и, наконец, мы оказались в поезде вместе с другими жертвами этой войны, высланными и угнанными, с теми, кого носило

по миру все это время, и ехали через разрушенные мосты, по искореженным бомбами рельсам, мимо сгоревших поездов и локомотивов, валявшихся под откосом словно выброшенная игрушка, мимо вокзалов, от которых ничего не осталось, через города, лежавшие в руинах, ехали в Мюнхен. Это было среди бела дня, в августе сорок пятого — выйдя из развалин центрального вокзала в Мюнхене, я подумал, что попал в город-призрак. Все, что было мне когда-то дорого, оказалось разрушенным, и образ, по которому я тосковал в изгнании, когда меня посещала отчаянная мысль, как хорошо было бы вернуться в Мюнхен человеком, этот образ исчез навсегда. Фuria войны не обошла город стороной. Здесь людям тоже довелось пережить неописуемое, они страдали, умирали или спасались чудом. Чего ради было все это?

Человек человеку враг. Один бьет другого. Так было и так будет всегда, говорят безучастные, говорят терпеливые, говорят ленные сердцем. Разве не может наконец настать время, когда человек пробудится, когда перестанет терпеть удары другого человека? Вот идут они, те, кого я знал и кто уцелел в войне, из своих подвалов, из убежищ, из развалин своих домов, стоят на руинах своей жизни и всматриваются в тяжелое, неведомое будущее, и они спрашивают меня: что нам надо было сделать, как мы могли защитить себя? Я видел, как умирали евреи в гетто, согнанные в кучу, словно скотина, как они дрожа стояли над своей

могилой и ждали пули. У них не было никакой возможности защититься, они были только жертвами, только страждущими, не они запустили машину смерти. Но разве великий немецкий народ был кучкой пропащих евреев? Что было бы — я не могу не думать об этом, — если бы Германия, древняя Германия не последовала приказам своего молоха-фюрера, если бы она стойко воспротивилась лозунгам войны и бесчеловечности, опираясь на свою проницательность, ум, характер и христианский дух? Если бы ни один мужчина не пошел в армию, ни одна женщина на завод, если бы жители городов не ждали послушно бомбежки, а закричали бы: нет, не хотим все это терпеть, мы хотим жить! Разве не рухнула бы тогда власть демона сама собой, обратившись во прах, и мы могли бы смеяться над развалинами этой власти, вместо того чтобы рыдать теперь над развалинами городов?! Подумайте только: города могли бы стоять в своей прежней красе, павшие продолжали бы жить, калеки ходили бы, и не горел бы голод в глазах детей, если бы только вы сказали «нет», если бы не отдали злу свои тела, своих детей, своих близких, свое умение и свой труд.

Ненависть — страшное слово! Ненависть, безумие и ослепление приносят несчастье. Я не питаю ненависти ни к кому. Даже к тем, кто виновен. Я страдал от их преследований, но я не

берусь быть им судьей. Однако мое нежелание судить, моя неспособность судить значат и еще кое-что: я не имею права прощать, я не имею права освобождать виновных от ответственности. Совершенные злодеяния лежат, по моему мнению, за пределами человеческого понимания. Только Бог может судить бесчеловечность, и пусть Он будет милостивым судьей там, где любое человеческое сострадание было бы непозволительной дерзостью.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Щекочихин. Опять об ЭТОМ? Опять об ЭТИХ?

5

Вольфганг Кёппен. Предисловие

9

**ЗАПИСКИ ЯКОБА ЛИТТНЕРА
ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ**

11

- K35** Кёппен В.
 Записки Якоба Литтнера из подземелья: Пер. с нем. —
 М. Текст, 2000. — 157 с.
 ISBN 5-7516-0213-7
- Вольфганг Кёппен (1906 — 1996) — немецкий писатель, автор изданных на русском языке всемирно известных романов «Голуби в траве», «Теплица», «Смерть в Риме». Роман «Записки из подземелья» опубликован впервые в 1948 г. под именем Якоба Литтнера, торговца марками, который прошел через ужасы гетто, чудом выжил и однажды рассказал свою историю молодому немецкому издателю, опубликовавшему его записи о пережитом. Лишь через сорок три года в авторстве книги признался знаменитый немец Вольфганг Кёппен.

ББК 84(4Гем)

*Вольфганг Кёппен
Записки
Якоба Литтнера
из подземелья*

Редактор Л.О.Тарасова
Художественный редактор Е.П.Кузнецова

Лицензия № 063402 от 26.05.99

Подписано в печать 14.10.2000. Формат 60 x 90/16.
Усл.печ.л. 10. Уч.-изд.л. 5,62. Тираж 3600 экз. Изд. № 327.
Заказ № 1011

Издательство «Текст»

125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82

Представитель в СПб. и «Книга — почтой»: (812) 311-96-31

Отпечатано в ООО
тиографии «ПОЛИМАГ»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107



Вольфганг КЁППЕН (1906–1996) – немецкий писатель. В России издавались его всемирно известные романы «Голуби в траве», «Теплица» и «Смерть в Риме», написанные в 50-е годы.

«Записки из подземелья» впервые были опубликованы под именем Якоба Литтнера, мюнхенского торговца марками, который был выслан нацистами из Германии, прошел гетто, чудом выжил и однажды рассказал свою историю молодому немецкому издателю, напечатавшему его воспоминания о пережитом. Лишь через сорок три года в авторстве книги признался знаменитый немец Вольфганг Кёппен.

ISBN 5-7516-0213-7



9 785751 602130